

Карл Якоб Гирш  
ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ  
(Письма к сыну)



Карл Якоб Гирш

# ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ



СВЕТ НА  
ВОСТОКЕ

К. J. Hirsch  
Heimkehr zu Gott  
© 1967 Brockhaus Verlag Wuppertal

К. Я. Гирш  
Возвращение к Богу  
© 1997 «Свет на Востоке»

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая вниманию читателей книга — один из первых (если не первый) переводов на русский язык К. Я. Гирша, музыкального и театрального критика, художника и писателя. Имя ее автора мало о чем говорит русскоязычному читателю, хотя на Западе его творчество достаточно известно: он оставил заметный след в культуре Европы. Его имя значится в международном справочнике «W. s W.» и в Энциклопедии искусств.

Издательство «Свет на Востоке» считает полезным выпуск этой книги, так как она, несмотря на то, что написана полстолетия назад, по-прежнему остается актуальной, и не только потому, что в ней на фоне атмосферы первой половины XX века на Западе дано осмысление причин прихода к власти в Германии нацистов, имевшего катастрофические последствия для всей Европы. Не это главное в книге о возвращении еврея к Богу. В ней затронуты имеющие и теперь большое значение вопросы, связанные с эмиграцией, изгнанием, отношением к вере.

Автор не различает понятий «религия» и «вера», но не очень сложный анализ показывает, что, когда он говорит о внешнем благочестии, о попытках самому достичь гармонии, он имеет в виду религию, а описывая свое возрождение и принятие Иисуса, он подразумевает веру в Мессию Израиля и всего человечества.

Поиски пути к Богу всегда поучительны, особенно такого интеллектуала, каким был К. Я. Гирш. Путь к Богу еврея, воспитанного на иудаизме с его пониманием благочестия, — интересен и поучителен вдвойне.



Книга лишена дидактической назидательности, написана искренне, а форма писем к сыну позволяет автору обнажить свою душу и не особенно беспокоиться о строгой последовательности фабулы.

Издатели сочли целесообразным, несмотря на обилие имен, известных лишь специалистам в области искусства и культуры, сохранить послесловие к немецкому изданию 1967 года, так как оно позволяет увидеть, как воспринималась книга К. Я. Гирша в Европе 30 лет назад.

Мы рассчитываем, что книга вызовет интерес у верующих и неверующих, евреев и неевреев, хотим надеяться, что она будет благословением для ищущих Бога и поможет хотя бы некоторым найти своего Мессию.

Д-р Марк Раик,  
редактор русского перевода

«Если мы хотим оставить после себя что-то полезное, то это должно быть вероисповедание. Надо поставить себя как индивидуум со своим мышлением, мнением, чтобы следующим за нами предоставить выбор по сообразности и общей пригодности».

Из письма И. В. Гете К. Ф. Цельтеру,  
1 ноября 1829 года

«Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3:3).

Нью-Йорк, февраль – июнь 1945 года

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Сын мой, эта книга написана для тебя. Эти письма принадлежат тебе. Ты прочтешь их, но не теперь, когда ты еще молод и твоя юношеская жизнь еще слишком запутана. Но я уверен, что ты ее все же когда-нибудь прочтешь — через десять или двадцать лет, когда меня, может быть, уже не будет на свете или я буду жить где-то вдали от тебя.

Эти письма я пишу тебе, чтобы ты узнал, как твой отец жил, как он искал истину, верный путь к ней, часто заблуждался и все же возвратился к Богу.

Историю моей жизни я хочу поведать тебе не потому, что жизнь моя так важна, а потому, что я хотел быть примером. Говорю «примером», а не «образцом», ибо ни один человек не может быть образцом для другого. Каждый должен найти свой путь сам, и никто его не найдет, если не будет искать. Сын мой, избегай удобных, проторенных путей, не бойся чашоб, пробивай себе дорогу, и ты выйдешь на светлую поляну.

### Письмо первое

Я рос в стране, которая называлась Германией. Сегодня она опустошена и разгромлена.

Я родился в то время, когда трудолюбивый гражданин мог жить в достатке. Это было 53 года назад, сырым туманным днем на севере Германии — в горо-

де Ганновере. Теперь от него остались одни руины, как почти от всех городов той страны. Но тогда это был цветущий, живой город, в котором жило довольное и трудолюбивое население. Прусский король управлял сильной рукой, по справедливым законам. Все чувствовали себя уверенно и защищенно. Даже евреи.

Я воспитывался в атмосфере еврейской городской семьи. Отец мой был врачом. Еврейская набожность была смыслом и содержанием наших повседневных устремлений.

Дед моего отца, мой прадед, — известный раввин Самсон Рафаэль Гирш, основатель новой еврейской ортодоксальности второй половины XIX века. Он боролся против либерального реформистского движения и требовал вместо сглаживания острых углов «времени после Торы» воспитания «в духе Торы». Раввин Гирш был борцом и плодотворным писателем. Память о нем, традиция, связанная с его именем, налагали определенные обязанности на всех его потомков. В нашем родительском доме образ его присутствовал не только внешне. Отец сам пытался жить по традиции и довести до сознания своих детей мысль о том, что они должны хранить наследие Самсона Рафаэля Гирша.

Так мы и воспитывались с моим братом-близнецом — в благочестии и верности законам. Быть хорошим евреем — это значит быть человеком, постоянно наполненным божественным сознанием. Богослужение состояло не только из посещения синагоги, а в ежедневном, даже ежечасном, служении Богу. Присутствие Бога виделось в самых малых и неприметных вещах, и для набожного еврея эти

вещи освящались Богом. Так отца моего учил его благочестивый отец Исаак Гирш, так мой отец учил и своих сыновей.

Мы с братом, ощущая постоянную родительскую заботу, росли изнеженными. Малейшая простуда могла вызвать осложнения — так считал мой отец, врач. Опасение родителей за наше здоровье мы часто использовали, чтобы не ходить в школу. Мать моя в своей озабоченности о благе сыновей ничем не отличалась от отца. В моей памяти она запечатлелась красивой, всегда несколько боязливой женщиной, дрожавшей от страха перед опасностями прежде, чем они возникали. Итак, я рос, защищенный семьей, центром которой были дети.

Когда пошел в школу, я не ощущал радостного желания учиться, которое должно владеть каждым ребенком; учеба для меня была принуждением — и только. В родительском доме мы не встречали настоящего противления, нас не наказывали, а родители лишь печалились, когда дети поступали нехорошо. Однако школа входила в обязанности, которые немецкому гражданину надлежало выполнять. Мы с братом учились в лицее, позднее названном гимназией имени Гете. Именем величайшего немецкого поэта в этом случае явно злоупотребили, чтобы учебному заведению с муштрой придать видимость гуманитарной школы в духе Гете. Но это не удалось. Может быть, поэтому я лишь через годы смог преодолеть неприязнь к веймарскому поэту.

Но потом, когда я открыл для себя Гете, я с ним больше никогда не расставался.

Учителя устарели и жили словно под слоем пыли в мире, не имевшем уже ничего общего с действитель-

ностью. Был там, в частности, один учитель, так называемый «наставник мальчиков» — Юнгер. Он в свое время обучал и моего отца, раскрыв перед ним науку счета теми же словами, какими он пытался это объяснить и мне.

Одну из глав своего первого романа «Кайзерветтер» я назвал именем этого незабываемого учителя.

## Письмо второе

Школьные годы были для меня мучением. Я был плохим и невнимательным учеником, мечтателем, думавшем больше о музыке, чем об учебе. С семи лет музыка играла для меня большую роль, и сегодня она для меня еще так важна, что без нее я и часа не хотел бы прожить. Но в то время она мне была большой помехой, потому что учителя не мирились с моим отношением к учебе, с тем, что я внутренне слушал Моцарта и Бетховена, а не их. Брат мой учился лучше меня. Он не был образцовым учеником, как когда-то наш отец, но достаточно умен, чтобы понять, что для достижения успеха необходимо выполнение своих обязанностей. Мне же не хотелось ни того, ни другого.

В школе я впервые столкнулся с антисемитизмом, который позднее тоже способствовал разрушению Германии. Тогдашний антисемитизм не был воинствующим. Он еще не требовал жертв, а только показывал. От него никто не умирал, но это причиняло неудобства, с которыми, впрочем, мирились.

Что поделаешь, еврею надлежит страдать...

Мальчишки на улице Гете после уроков дразнили еврейских ребят, а мы, еврейские школьники, не

обращали на это особого внимания. Иной вид антисемитизма был не так заметен. Он был тоньше, изысканнее, но не менее злобным. Наш старший преподаватель, профессор Раабе, бывало, своим надменным прусским манером приказывал:

— Кон, встаньте. — Ученик Леви не шевелился. Он сидел и глупо глядел на учителя.

— Так встаньте же!

— Но я же не Кон!

— Ну какая разница, как вас там зовут — Кон или Леви! Не все ли равно?

Таким был антисемитизм в начале XX века. Официально его не было, в действительности же он был общим достоянием так называемых образованных классов, которые через 30 лет стали приверженцами Гитлера.

Наше еврейство было чем-то таким, что невозможно было изменить. Мы были евреями, мы были немцами, мы были гражданами, но не было настоящего единства. Только в некоторых землях Германии еврей мог стать офицером запаса. Многие евреи находили это оскорбительным, потому что не хотели отличаться от немцев. Еврей-горожанин имел лишь одну цель: быть признанным согражданином. Еврейство же наше было неизменным. Это была религия, которую отправляли по субботам, часто лишь по большим праздникам. На улице, по дороге в синагогу молитвенники были обычно завернуты в газету. Еврейства стеснялись.

Но не такой была семья моего отца. Она гордилась своим еврейством, так как фамилия Гирш считалась аристократической для еврейства. В детстве я ничего не знал о «еврейской проблеме». Отец мой

был набожным, богобоязненным человеком и для нас с братом служил примером.

Еврейский мальчик был обязан посещать занятия по религии. Они проводились в то время, когда у других школьников не было занятий: в среду после обеда и в воскресенье утром. Я ничего не имею против учителя Готлиба, но он, желая нам добра, воспитывал нас лицемерами. Не знаю, читал ли он Гете, герой которого Вильгельм Майстер сказал: «Те, которые стремятся к благочестию, обычно становятся лицемерами». Учитель Готлиб заставлял детей учить наизусть молитвы на древнееврейском языке. Лучшим учеником считался тот, кто мог их быстрее всех рассказать (но, естественно, не самым благочестивым). Эта молитвенная мельница размолочила все первоначальные радости и всякое уважение к Богу, создавая автоматы, а не наполненных Богом людей. Все мое уважение к Богу превратилось в ужас. Богослужение стало для меня бессмысленным мучением. Меня заставляли произносить молитвы, смысл которых я не понимал.

В родительском доме строго соблюдались законы. Но занятия по религии были карикатурой, которая самого благочестивого мальчика могла превратить в атеиста. Я начал страдать от моего еврейства. Мне хотелось быть набожным и богобоязненным евреем, но пути к этому мне не указали и оставили одного. Родителям я об этом ничего не мог сказать, потому что они и слушать ничего не хотели. Брат мой и на этот раз вел себя умнее: он делал вид, что все хорошо, повторяя при этом мне: «Не ломай над этим голову!»

Однажды я попытался объяснить отцу, что не хочу больше посещать занятия по религии.

— Значит, ты не хочешь стать благочестивым? — спросил он.

— Наоборот, очень хотел бы! — ответил я

А моя старая бабушка, жившая у нас, на все вопросы отвечала:

— Так положено.

Так я стал совершенно одиноким. Я был плохим учеником и плохим евреем. Я был мечтателем. Что из меня получится? Ответа на этот вопрос я не знал.

### Письмо третье

Детство мое было полно событий, значение которых мне стало ясно лишь позднее. Может быть, детские переживания вообще принимаются неосознанно, и лишь потом, когда-нибудь позднее, они оживают.

Так, я сегодня вспоминаю один из рождественских вечеров, когда мы с братом возвращались от наших школьных друзей. Было это в воскресенье, в 6 часов вечера.

Родители сидели уже за столом. Отец необычно хмуро спросил нас:

— Где это вы шлялись?

— Мы же были по приглашению у Майерштейнов!

А брат добавил:

— У них такая красивая елка!

Отец отложил нож и вилку и поднялся. Лицо его стало бледным, голос дрожал:

— Вы ели что-нибудь с того дерева?

— Конечно, — сказал мой брат и показал небольшой пакет, в котором были завернуты шоколадные крендели. Отец вырвал пакет из его рук, открыл

дверцу печки и бросил пакет в огонь. Сделал он это с отвращением и негодованием, затем вытер руки, будто прикоснулся к чему-то нечистому.

— Вы преступники, вы паршивые, лживые существа. Вон отсюда! Нет у меня больше сыновей!

Мать попыталась заступиться, но отец вышел из комнаты, хлопнув дверью. Мы отправились в свою комнату, сели на кровать, не зная, как нам быть.

Ты всего этого не поймешь, сын мой, но я хочу тебе объяснить, что набожный еврей не должен прикасаться к рождественской елке и не должен ничего с нее есть. Это считалось смертным грехом. Ибо рождественская елка была символом Того Человека, Который, по мнению евреев, предал учение Моисея. Имя Того Человека и все, что связано с его религией, в нашем благочестивом еврейском доме не упоминалось.

Майерштейны же, у которых мы с братом были в гостях, представляли собой еврейскую семью, в которой из-за детей ставили елку. У нас же был лишь светильник, зажигаемый в честь праздника Ханука. Хотя он был из настоящего серебра и зажигался в течение восьми дней каждый вечер, он был далеко не таким торжественным для нас, как елка, которую мы видели у своих друзей.

Праздник Ханука — это торжество в память подвигов Маккавеев, еврейского княжеского рода, защищавшего и освободившего город Иерусалим. В то время в храме не было достаточно масла, чтобы светильник горел в течение восьми дней. Но, по еврейскому преданию, Бог совершил чудо, и одной капли оставшегося в светильнике масла хватило на все восемь дней. В честь этого события евреи отме-

чают праздник Ханука, в который каждый вечер зажигается светильник — менора. В первый день зажигается одна свеча и в каждый следующий — на одну больше.

В праздник Ханука детям и взрослым делают подарки.

В родительском доме этот праздник отмечался очень торжественно. Мы, дети, получали много подарков и были довольны. Мы не думали о смысле праздника, а пользовались только его благами. Родители очень строго соблюдали все еврейские праздники и не стыдились быть евреями, а, наоборот, в любом случае подчеркивали свое еврейство. Конечно, были у нас и знакомые неевреи, с которыми мы общались. Общение с ними было честью, но особо доверительных отношений не возникало. Собственно говоря, евреи в моем детстве жили в своего рода гетто без стен.

Они не возносились над неевреями, но, сознавая свое отличие, не тяготились им, так как оно им страданий не причиняло.

Мой прадед Самсон Рафаэль Гирш когда-то писал: «Не ходись близко с неевреями».

Помню, как в детстве я понял непревзойденность красоты еврейских вечеров по пятницам. В такую пятницу, действительно, каждый еврей становился царем, отдыхающим от трудов недели в своем царстве, в своей семье.

Суббота была днем отдыха для всех. Хотя врач по своей должности не мог в такой день не принимать больных, но рецептов он не выписывал, ибо писать в субботу было запрещено. Еврейские законы подчас трудно было соблюдать, однако выполнять их по

возможности было долгом каждого еврея. Но, чтобы совместить гражданское приличие с еврейским благочестием, лазейки находились.

В субботу было запрещено что-нибудь нести, но носовой платок, например, был человеку необходим. Эта «проблема» разрешалась следующим образом: в карман вшивалась тесемка, к которой привязывался платок. Таким образом он был неотделимо связан с костюмом, и его не приходилось «носить».

### Письмо четвертое

Родителям моим я причинял немало забот. У меня были плохие оценки по религии; в гимназии учителя были мной недовольны, дома я хмуро слонялся по углам. Мне тогда было 11 лет. Друзья мои все были старше меня и разговаривали о вещах, мне непонятных. Лишь в музыке я находил радость.

Мой учитель фортепьяно Айхель, к которому я ходил два раза в неделю, был гобоистом в Ганноверском придворном театре. Память о великих композиторах Рихарде Вагнере и Иоганнесе Брамсе он хранил как величайшую драгоценность. Трогательным и несколько комичным казалось то, что он хранил пепел от сигар, подаренных ему Вагнером и Брамсом. Когда он бывал очень доволен мной, то доставал из шкафа коробку с сигарами и рассказывал:

— Однажды вечером в театре, после того, как И. Иоахим сыграл скрипичный концерт, Брамс зашел к нам в оркестровую комнату и подарил каждому музыканту по сигаре. Брамс сам дирижировал и, когда зашел к нам, был еще весь в поту. Да, да, великий это был человек...

— Но он был очень маленького роста, не так ли, господин Айхель? — спросил я развязно.

— Конечно, глупенький. Все великие люди малы ростом, таким был и достопочтенный маэстро.

Этим «достопочтенным маэстро» был не кто иной, как сам Рихард Вагнер. О нем господин «камерный виртуоз» рассказывал следующую историю:

— Когда я временно играл в Байрёйте, то после представления «Зигфрида» маэстро зашел к нам в оркестр, дал каждому сигару и сказал мне: «Ну, молодой человек, вы сыграли, как надо, совсем неплохо!»

А я, осмелев, спросил:

— Господин Айхель, а на каком диалекте говорил достопочтенный маэстро?

— Ну, конечно, на саксонском, ведь он был из Лейпцига!

Познакомившись с музыкой Вагнера, я был пленен великим волшебником из Байрёйта. Я так был наполнен и захвачен его музыкой, что все остальное в сравнении с ней казалось мне незначительным.

В то время различали «серьезную» и «легкую» музыку. Моцарта причисляли к «легким» композиторам, а Вагнера — к «серьезным».

В своем увлечении я присоединился к этому ошибочному взгляду. Я презирал «легких» композиторов и преклонялся перед «серьезными». Лишь потом я поумнел настолько, что осознал бессмысленность таких определений.

Сегодня я знаю, что нет ни «серьезной», ни «легкой», ни «хорошей», ни «плохой» музыки. Музыка либо есть, либо ее нет вовсе.

Музыка Вагнера была для меня тогда незаменима.

В ней я находил упоение и философию, тоску и полное удовлетворение. Под звуки «Тристана» я мог разрешить мои самые запутанные любовные мечты; в ликующем до-мажоре «мейстерзингеров» для меня торжествовал гений Вальтера над «мещанством» Бекмессера.

Сегодня философия Вагнера мне чужда, но музыка его мне так же близка, как раньше. Я храню верность музыке Вагнера, как я верен музыке моего детства — от Баха до Шенберга. Когда я стал старше, лет в 35, я открыл Брамса. Наверное, надо пройти через страдания, чтобы понять Брамса.

Музыка так меня наполняла, что я не сомневался в том, что стану музыкантом. Она вытеснила мои занятия в школе. Неудовлетворительные оценки по общеобразовательным предметам я старался заглядывать в глазах родителей удивительными успехами в игре на фортепьяно. Отец мной гордился. «Я в состоянии дать моему сыну возможность посвятить себя искусству», — говорил он.

Тяжелое заболевание разрушило все мои мечты стать пианистом или дирижером. Это была первая серьезная болезнь в моей жизни. Как все дети, я переболел корью, краснухой, свинкой, скарлатиной, дифтерией, ветряной оспой. Но тогда я лежал в трясущем ознобе с высокой температурой. У меня было заражение крови. Небольшая неосторожность во время рисования была причиной того, что у меня у основания ногтя распух правый указательный палец. Отец мой, осматривая больную руку, выглядел озабоченным, а когда увидел красную полоску от пальца вверх до локтя, тотчас велел мне лечь в постель.

Я лежал с тяжелой головой, а правую руку мучила

дергающая боль. Мне было нехорошо. Когда я очнулся из полудремоты, я услышал скрипучий громкий голос. Он принадлежал известному хирургу, доктору Каро, который вместе с отцом стоял у моей постели и говорил что-то очень научное и непонятное. Потом ко мне подошла мать. Она была так добра и ласкова со мной, что я понял, что болен тяжело. Потом меня оперировали, сделав укол для местного обезболивания. Отец держал мою левую руку, мать гладила меня по голове. Оба были очень возбуждены. Мать утирала свои глаза, отец прикусывал губу.

Я лежал вялый, не чувствуя боли, гордясь немного тем, что из-за меня столько суматохи.

Я проболел шесть недель, в течение двух из них жизнь моя была в опасности. Хирург хотел отнять мою правую руку, но отцу удалось предотвратить это. Понадобилась вторая операция, в результате которой я лишился части пальца, но рука была сохранена, и я остался жив. Мать вместе с медицинской сестрой ухаживала за мной, а отец с друзьями и коллегами приходили к моей постели и совещались.

Я очень гордился тем, что был в центре внимания. Брат завидовал мне. Когда я поправился, мы с матерью и кухаркой отправились на курорт на Северное море, где оставались с мая до августа.

Вспоминая то время, я понимаю, что это было самое беззаботное, но вместе с тем решающее для меня время.

Одиноким ребенок обычно чувствует себя покинутым. Лишь взрослый может выносить одиночество, так как он пресыщен людьми и событиями.

В то время я сознательно стремился к одиночеству. Я был горд весь день ни с кем не обменяться ни

единым словом. Болтливый и общительный от природы, я принуждал себя к этому, чтобы казаться старше, чем я был на самом деле. Я пользовался одиночеством для раздумий о самом себе.

Уходило детство. Я был юношей, еще не мужчиной, но болезнь словно сделала меня старше. Я стал более зрелым. За последние шесть месяцев я повзрослел на шесть лет.

Я потерял всякий интерес к Богу. Осталось лишь детское воспоминание о древних обычаях, о принудительном посещении занятий по религии и синагоги. Бога я в этом уже не находил. Не находил я Его также ни в шуме волн Северного моря, ни в громе и молнии. Ни в проливном дожде, ни под звездным небом я больше не находил Бога моего детства.

Почувствовав себя созревшим и повзрослевшим, я освободился от суеверия, в плену которого непонятным мне образом находилось еще столько людей. Природа начала раскрывать передо мной свои тайны. Проблема «мужчина и женщина» в это время уже давно была решена.

В тот несколько беспокойный период развития я встретил 17-летнюю девушку. Черноволосая, с большими глазами, она напоминала негритянку. Я ринулся к ней со своей новой философией. Только что я начал читать произведения венского писателя Артура Шницлера.

Я читал роман «Путь на волю», в котором, наряду с разумными замечаниями по еврейскому вопросу, главным была фигура симпатичного музыканта-любителя, австрийского дворянина. Этот барон фон Вергентин, материально независимый, как кинозвезда, состоял в любовной связи с простой девушкой,

симпатичной Анной Розмер. Роман превратил меня полностью в барона фон Вергентина, а мою избранницу — в Анну из Вены.

Я забыл, что мне всего 15, забыл, что вокруг совершенно другая атмосфера. Мне казалось, что образ главного героя романа отображает меня и что он живет моими переживаниями. Я жил нереальной жизнью, я играл роль, совершенно мне не подходящую, переживал сцены, ничего общего не имевшие с моей действительной жизнью.

Именно тогда началось то, что развилось во мне позднее: способность вести мнимую жизнь, которую нередко смешиваешь с действительной.

Это была жизнь теней с вымышленными персонажами, ничем не похожими на меня, но я жил ею.

Следствием этой немного экзальтированной жизни было то, что меня стали считать раннеспелым и незрелым. И это было верно.

Рассказываю я об этом тебе, сын мой, не потому, что считаю это очень важным, а потому, что все это мне сегодня кажется характерным для всего моего развития.

Помню, что однажды моя подруга, перед которой я преклонялся, подарила мне переписку Матильды Везендонк с Рихардом Вагнером. Мне удалось прочесть ее одновременно с книгой «Путь на волю». Последствие было ужасным. Фигура Рихарда Вагнера, этого революционного музыканта и драматурга, идентифицировалась мной с фигурой австрийского дворянина из романа Шницлера. Я писал восторженные письма, отчасти в стиле Вагнера, отчасти в стиле Шницлера, моим друзьям и моей подруге, и все они пришли к заключению, что я свихнулся.

Но это было неверно. У меня просто все перепуталось. Я не мог тогда разобраться в действительности. Научился этому я позднее.

В этой оторванности от действительности было одновременно и что-то хорошее, и что-то плохое. Она делала меня способным переносить все — прекрасное и тяжелое. Одновременно она лишала меня способности видеть вещи такими, какими они были в действительности. До сего дня я борюсь за объединение моей мечты с действительностью.

После моего полного выздоровления я понял, что исполнение моего желания стать музыкантом из-за искаленной руки очень осложнилось. Во мне зарождалась новая склонность, имевшая истоком литературу и формировавшаяся музыкой: способность выражаться образами. Короче говоря, я решил стать художником.

Занимаясь живописью, я забывал все. Я срисовывал картины из томов истории искусства Любке-Зимфау, подаренных мне на Бар-Мицву (еврейская конфирмация). Мое увлечение живописью подкреплялось решительной поддержкой со стороны отца. Он брал мои рисунки и пастельную живопись и показывал их известным художникам для оценки. Однажды он без моего ведома послал несколько моих рисунков художнику Дефреггеру.

Ответ пришел через несколько недель. «Талант есть, но от одного таланта пользы мало. Пусть мальчик чему-то толковому научится».

Я узнал об этом лишь позднее, возможно, слишком поздно, ибо был уже на пути становления свободного художника.

Нет, мой отец не заставил меня чему-то толково-

му учиться. Я остался верен искусству, и оно наполнило всю мою жизнь.

В те годы, перед первой мировой войной, сыну состоятельного отца было нетрудно стать человеком искусства, приобрести профессию художника. Ежемесячный вексель, хотя и был небольшим, но пропитание обеспечивал.

Искусство казалось мне путем к свободе — к свободе от мещанских оков. Искусство обещало мне подняться над мещанством и причислять себя к слою людей, легкомысленный образ жизни которых непонятен многим романистам. Но быть свободным художником означает уметь трудиться, постоянно сидя у мольберта, у фортепьяно или у письменного стола, чтобы трудом добиться благосклонности музы.

## Письмо пятое

Родители отправили меня в Мюнхен, на родину моей матери, где жила моя бабушка. Я жил у нее на Зонненштрассе, напротив евангелической церкви. Моя бабушка Марголит была энергичной женщиной с любящим сердцем, но с немалой дозой сарказма. Она над всем смеялась, за что ее не любили. Возможно, что я унаследовал эту черту характера от нее. Ведь сарказм — это не что иное, как страх перед собственной податливостью, которую легче всего скрыть под насмешкой.

Тебе, мой сын, я этого не советую, ибо насмешник — это обычно слабое существо. Сильному, внутренне крепкому человеку нет надобности быть насмешливым.

В Мюнхене, как я и надеялся, ждала меня свобо-

да. Упоительное чувство овладело мной, когда я вдали от родительского дома стал независимым. Но глаза моей бабушки следили за мной гораздо строже, чем глаза моих родителей. Мне постоянно приходилось выдумывать разные отговорки и хитрости, чтобы объяснять бабушке мои уходы из дому, отсутствие на обеде, позднее возвращение по вечерам. Побранившись, она обычно говорила: «Тебе, наверное, опять деньги нужны?» – и бросала золотую 20-марочную монету на стол.

Я посещал школу живописи Дебшица на Гогенцоллернштрассе. Там я с удовольствием начал рисовать и казался, наверное, не менее талантливым, чем другие. Но главным было для меня регулярное посещение кафе «Штефани». Там появлялись знаменитости. Они пили кофе, занимали деньги или играли в шахматы.

В определенном углу сидели Рода Рода в красном жилете и Эрих Мюзам, позднее убитый нацистами. По кафе, упиваясь ранней славой, прохаживался писатель Генрих Манн. Бывала здесь и художница Лотта Притцель, изготавливавшая хрупкие куклы. Альфред Вольфенштейн, мой будущий друг, в своих совиных очках важно высматривал какого-нибудь знакомого, с которым договорился о встрече.

Хотя я, девятнадцатилетний, был и незначителен, но иногда и я мог принять участие в блестящей жизни художников, вследствие чего нерегулярно посещал школу живописи, поздно вставал и ходил с синими кругами под глазами.

Но самым важным для меня было посещение концертов в «Одеоне». Дирижировал ими Феликс Мотль. Там я впервые услышал «Героическую сим-

фонию» Бетховена, которая меня полностью лишила равновесия. Моя несколько поблекшая рядом с живописью любовь к музыке снова выдвигалась на передний план. Я слушал почти все концерты Фердинанда Лёве, мастерски дирижировавшего симфониями Антона Брукнера. А потом я пережил музыку Густава Малера, которую дважды слушал под управлением самого автора.

Встреча с музыкой Малера для меня была решающим событием. Напряжения и развязки, полеты и падения, мягкость его народных мелодий – все это физически овладевало мной.

Я должен сказать, что музыка Густава Малера до сего дня для меня величайшее откровение музыкальных способностей человека. Для меня она (я знаю, что многие музыканты со мной не согласны) стоит на одном уровне с музыкой Баха и Бетховена. Дело не в совершенстве, не в том, насколько гладко и без переломов оформлена музыка, а в художественном выражении напряженности между человеческим и вечным. Именно это и имеет место у Малера.

Ты должен представить себе, дорогой сын мой, что в те годы я был крайне возбудимым, но не безудержным человеком. Как однажды сказал о себе Рихард Вагнер: «Экстаз – мое естественное состояние», – так было и со мной. Я рисовал, иногда сочинял и все больше пленялся той новой формой искусства, которая тогда появилась, – экспрессионизмом. Не так важно было что-то уметь, как что-то чувствовать. Умение стояло на втором месте, выражение – на первом. То, что без кропотливого труда не может быть искусства, я понял гораздо позже.

Вследствие моей открытости я стал слишком чув-

ствительным. Бабушка по-своему называла это ненормальностью. Учителя ничего со мной не могли поделать. Однажды мне задали нарисовать колесо от повозки. В результате у меня получился «Ритм колеса от повозки». В рисовании с натуры я передавал больше линию, чем телесное; натуралистическая действительность меня не интересовала.

Я любил идею созданного, идею цветка, идею любви, а не их действительность.

Жизнь моя в Мюнхене не удовлетворяла моих родителей. Однажды приехал отец, чтобы осведомиться о моих успехах. Мой учитель Дебшиц сказал ему: «Я его редко вижу».

Разговор с отцом закончился моим заверением испраться. Но сделать это я был не в состоянии. Я так колебался между музыкой и живописью, что на верный путь меня в конце концов вывела литература. Это звучит противоречиво, но никакого несоответствия не было.

В то время я писал стихи в стиле Августа Штрамма. Его стихи состояли из одних имен существительных. К ним я делал рисунки и все это перекладывал на музыку.

Ты меня спросишь, мой мальчик, какие, собственно, у меня были цели? Честно сказать, никаких; я плыл по течению.

Прожив день, я пытался арабесками идей выразить его смысл.

Мюнхен 1911 года блистал волшебным блеском. Воздух был чистым и звенящим, небо необъятным, а солнце золотило вершины гор. Чувства были в зените, и душа расправлялась.

Там я встречал друзей и художников — швейцар-

цев, венгров, англичан, северных немцев — людей со всех сторон. Все были добры ко мне, считали меня смешным из-за моей гениальной прически и моей застенчивости, прятавшейся подчас за дерзостью. Швейцарцы передо мной все воспевали свою родину. Сегодня, на 53-м году своей жизни, я понимаю, что такое родина. Она такая же неотъемлемая часть, как язык. Горе изгнаннику!

## Письмо шестое

В моих посланиях к тебе я хотел бы показать, что гораздо важнее найти собственный путь, чем удобства и покой. Покой — это результат внутренней удовлетворенности самим собой. Но нетребовательность и скромность — этими качествами я никогда не обладал.

Скромность — это порок всех людей, которые в основном требовательны, но не смеют выразить свои требования. Я этого никогда не делал, а говорил что хотел и, если не получал желаемого, был обижен, как ребенок. Этой слабостью моего характера я не хваюсь. Виной тому было мое воспитание в мещанской семье, но я виню не родителей, а только самого себя.

Они воспитывали во мне смышленость, а не мудрость. А мудрость предполагает опыт, который мне в достатке предстояло приобрести.

В 1911-1912 годах, когда я учился в Мюнхене, я был одаренным существом, которое отчаянно пыталось избавиться от унаследованных моральных тормозов. Без искусства я бы как человек сам себя потерял, опустился бы.

Но картины, которые я видел, музыка, которую я слышал, слова, рождавшиеся во мне, были хотя и сильнее всего другого, однако недостаточно сильны, чтобы разорвать узы моей мещанской жизни. Сегодня я знаю точно: я никогда не смог бы стать цыганом или вести божественный образ жизни.

Жизнь моя была упорядочена странным образом, другим она, может быть, казалась беспорядочной. Но я в ней разбирался. И это было главное. Я спокойно могу сегодня сказать, что я до сего дня остался по-детски простодушным. Я все мог выдержать. Это детское простодушие было моим ангелом-хранителем, оберегавшим меня от всех падений.

Искусство заменяло мне и Бога, и религию. Сегодня я знаю, что в душе я всегда был верующим человеком, ибо неверующий не может понимать искусство так, как понимал его я. Картина Рембрандта, симфония Бетховена или Малера, увертюра Вагнера — все это меня сбивало с ног, то есть возвращало меня к самому себе. И тебе, сын мой, скажу: никогда не теряй способности увлекаться и гореть.

Не разучись забывать самого себя. Тогда ты обрешь себя вновь, но измененным и обогащенным.

Проблемы искусства заставили меня забыть о моем еврействе, оно, как тень, удалялось от меня. Оно мне стало совершенно безразлично, так же, как сознание быть немцем. О еврейской жизни в моих кругах вообще не говорили. Бога так же обходили, как и семью.

Я в то время отошел от действительности. Я жил в мнимом мире, который путал с действительностью. Ежемесячный вексель от родителей обеспечивал мое существование в материальном смысле. Не могу

сказать, что я с деньгами обращался по-хозяйски, нет, никоим образом. У меня не было никакого ощущения ценности денег. Деньги я получал всегда первого числа каждого месяца и не позднее пятнадцатого не имел уже ни гроша наличными. Но этот вопрос не был жизненно важным. У меня было достаточно друзей, которые выручали в трудный момент, и был, наконец, старший официант Алоис в кафе «Штефани», который всегда давал просимую сумму займа.

В то время в Мюнхене мне встретила молодая дама, которая произвела на меня сильное впечатление. Она изучала медицину, была светловолосой и строгой.

Встречи стали частыми, и мы сделались добрыми друзьями. Ее характерный кивок головой мне сразу бросился в глаза. Это был странный утверждающий жест, но ее плотно сомкнутые губы обесценивали вежливость ее кивка, будто она хотела сказать: «Пожалуйста, не вторгайся в мою сферу», словно она защищалась, боясь потерять себя. Никому она не позволяла заглянуть в себя. По этой причине ее больше уважали, чем любили. У нее была особая, барская, манера выражать свое мнение, и это отталкивало. Мою симпатию она обрела благодаря одному ответу на замечание относительно меня: «Этот молодой человек всегда несколько возбужден». Гуло посмотрела на меня и, улыбнувшись, сказала в своей спокойной манере, почти не разжимая губ: «Я нахожу его не возбужденным, а импульсивным».

Она позволяла мне сопровождать ее на концерты. Там я мог со стороны наблюдать за ее подвижным лицом: светлые глаза, своевольный маленький носик, строгий рот, редко улыбающийся. Мне нрави-

лось ее странное нервное движение рукой, когда она убирала со лба прядь волос. Она требовала от меня, чтобы я любил и ее фетровую шляпку, и ее фиолетовый зонтик. Этого я не мог, я не выносил некоторую ее распушенность в одежде.

«Кто мой настоящий друг, — говорила она своим хрипловатым голосом, часто откашливаясь, — тот любит меня и во вретище, и в пепле».

Она всегда говорила, что думала, не соблюдая ни условностей, ни внешней вежливости. Она, прямая и неподкупная, была способна из-за мелочи порвать отношения с человеком. Я был слишком занят самим собой, слишком пленен собственными мечтами, чтобы разобраться в сущности Гуло. Наверное, я ее не понял и за время нашего тринадцатилетнего брака. Лишь сегодня, вдали от нее, я знаю, кем она была.

Оставив Мюнхен, расставшись с Гуло, я отправился в Ворпсведе. Оттуда я написал ей несколько экзальтированных писем, на которые она ответила спокойно и приветливо. Вблизи Бремена находилась колония художников Ворпсведе. Там я намеревался провести летние месяцы, чтобы поучиться у одного художника.

В этом Ворпсведе, где я пробыл с мая по сентябрь, мне открылся мир художников, какого я не встречал в больших городах. Среди художников, живших в маленькой деревушке, были одаренные и неодаренные, и большинство из них жили не по средствам. У каждого был свой заложенный домик и столько долгов местному торговцу художническим реквизитом, что они годами не могли выехать оттуда. В эту беззаботную жизнь пришел я с большим багажом, вело-

сипедом, месячным векселем и с достаточным талантом.

Хочу рассказать тебе, мой сын, об устройстве деревушки Ворпсведе.

На равнине, тянувшейся от моря до среднегорья, между реками Везер и Эльба расположен Вейерберг. Это единственное возвышение в большой болотистой округе с худосочными соснами и низкорослой хвойной растительностью. Сверху открывается прекрасный вид до самого города Бремена, зубчатый силуэт которого виднеется на горизонте. Внизу вся земля прорезана прямолинейными каналами. За березами и кустарником прячутся крытые соломой крестьянские дома. Над всей округой возвышается башня деревенской церкви.

Сама деревенька состоит из крытых соломой строений, образующих две улицы, почти параллельные друг другу. Они сходятся у гостиницы «К Хембаргу», где начинается шоссе на Остендорф. Здесь живут художники, имеющие собственный участок земли. У подножия горы в модернизированных крестьянских домах тоже живут художники или архитекторы. В селении также живут крестьяне. В будни здесь по-деревенски тихо, а в воскресные дни приезжают чужие, чтобы посмотреть на художников, посетить их мастерские и выставки. Иногда они покупают и картины.

Земля вокруг Ворпсведе необычная и полна тайн: прозванная «Чертовым болотом», она раскинулась под необозримым небом. Здешние крестьяне ходят сторбившись, словно несут тяжкий груз на плечах. Медлительная походка создает впечатление, будто им трудно отрывать ноги от земли. Лица этих болот-

ных людей суровы и морщинисты. Странными кажутся на них светлые глаза, из которых словно светится даль морская. В течение веков здесь ничего не меняется. Не изменились их соломой крытые дома, одежда соответствует их образу жизни. Говорят они на устаревшем диалекте, подчас непонятном для немцев. Собственно, их язык существует сам по себе, как и эти люди, оторванные от мира. Лишь узкоколейка связывает эту местность с миром.

Романтика местности собрала здесь художников. Нужны были не только хорошие глаза, чтобы увидеть красоту этой земли. Необходимо было понимать и ее музыку: гармонию между небом и землей, ритмичное стаккато узких каналов, глиссандо берез, как и фуриозо времен года. Семь месяцев в году небо покрыто облаками. Туман, дождь или снег опускаются на землю, на которой человек влачит свою трудную жизнь. Но затем с силой врывается весна, какой не бывает в умеренной зоне. С приходящим теплом все растет и зреет. Нигде трели соловья не бывают более захватывающими, нигде луна не кажется больше, чем под небом Ворпсведе. Кажется, что природа в эти три весенних и летних месяца расточительно разливает полноту своего богатства. От этой земли трудно оторваться. Но за эти три месяца красоты дорого приходится расплачиваться бесконечной осенью и зимой, во время которых туман забирается в дома и делает людей тупыми. Тогда выручает светлое, немного водянистое пиво и жгучая водка «Клон», одурманивающие сознание бытия.

Надо обладать большим внутренним богатством, чтобы существовать там, на земле между Везером и Эльбой. Художникам это удавалось. Они устроили

себе совершенно самобытную жизнь и принялись рисовать, ваять, сочинять песнь песней об этой земле.

К сожалению, лето мало повлияло на мое художественное развитие. Я там присутствовал лишь внешне. Возможно, я был еще недостаточно зрелым, чтобы воспринять прелести этой бескрайней земли. Так называемая «жизнь художников» полностью истощила мои духовные и физические силы. С воспоминанием о растраченных деньгах, о нескольких прогуленных днях и ночах я оставил болотную деревеньку Ворпсведе, не зная, что очень скоро вернусь обратно.

Я восстанавливал свои силы в родительском доме. Там я получил материнский уход и отцовский совет. А в сентябре я отправился в Париж.

В то время путешествие в Париж не было чем-то необыкновенным. Даже паспорта для этого не требовалось. Родители несколько неохотно отпустили меня, так как Париж считался очагом разврата и притонов. К сожалению, мои родители ничего не знали, что происходило в моем родном городе Ганновере, который внешне казался очень приличным, в действительности же в нем было достаточно места для свободной, распушенной жизни.

То, что происходило за закрытыми окнами в барах и ресторанах Ганновера, было гораздо порочнее всего, чем мог поразить Париж. Я об этом знал лишь понаслышке, мои гораздо более опытные соученики и потом друзья рассказывали мне самые возмутительные вещи.

Красота Парижа, величие Елисейских полей, романтический Монмартр меня очаровали. Жил я тогда в небольшой гостинице «Мон Парнас», где прожи-

вал и мой брат. Он был послан туда одной из ганноверских фирм, и родители мои были спокойны, оставляя меня там под охраной более надежного брата.

Скажу сразу: более солидным из нас был я. В Париже я жил тихой жизнью, заполненной посещениями Лувра и Люксембурга. Кроме того, я вечерами ходил в школу живописи Мориса Дениса, известного французского художника. Я рисовал с натуры, писал натюрморты. Делал я это лишь для успокоения родителей, показывая, что учеба моя продвигается. На квартире я делал офорты и иллюстрации к «Жизни Марии» Райнера Марии Рильке. Эти стихи, полные чувственного честолюбия, были посвящены художнику Генриху Фогелеру из Ворпсведе. Я посылал свои офорты Фогелеру в Ворпсведе, а он отправлял их Рильке. В одном из писем я просил Фогелера спросить Рильке о разрешении написать ему посвящение. Через несколько месяцев я получил замечательное письмо от Райнера Марии Рильке.

Письмо это было написано в Париже, в какой-то сотне шагов от моей квартиры. Несмотря на то, что Рильке это знал, он отправил письмо своему другу Фогелеру в Ворпсведе. Поэтический, хотя и излишне обстоятельный путь. Письмо меня обрадовало, несмотря на то, что поэт посвящение отклонил.

Он писал: «Если Ваше и мое желание взаимосвязаны, я предпочитаю оставить его невысказанным... Однако я был бы смущен, если бы Вы из-за этого отказа забыли бы о моей благодарности за Ваше намерение ... всепреданнейший Вам Райнер Мария Рильке».

Этим письмом я был доволен чрезвычайно. Несколько дней спустя один из моих друзей показал мне в парижском ресторане «Дувал» сидящего там Рильке. Я долго боролся с собой — подойти мне к нему или нет, и наконец подошел. Получился лишь трехминутный нескладный вежливый разговор...

Моя папка с офортами позднее увидела свет в одном из берлинских издательств.

Вспоминая о времени, проведенном в Париже, я понимаю, что был тогда слишком молод, чтобы воспринять красоту этого города. Для меня это были улицы и площади, музеи, полные картин, театры, где хорошо играли комедии, концерты прекрасной музыки, в общем — город, как все другие. Хотя я видел серебристый воздух Парижа, чувствовал дыхание чужой мне и очень духовной жизни, видел таких художников, как Пикассо и Дерен, обедал за одним столом с рано погибшим Модильяни, но был слишком молод, чтобы увидеть действительность. Лишь позднее я понял, какое это было чудесное время.

## Письмо седьмое

До июня я оставался в Париже, ничего не подозревая о приближавшей войне. Затем я оставил Францию и вернулся в Ворпсведе, снял мастерскую и написал родителям, что я снова в Германии и скоро навещу их.

Лето в Ворпсведе наступило как-то внезапно. Ночи были наполнены пением соловьев, звездное небо сверкало, и я был очень счастлив. В то время я сумел по-настоящему увидеть и понять этот болотный край, раскинувшийся до самого моря; белые березы

перед бурными торфяными полями. Ночью я слышал скрежет повозок с торфом перед моим окном, и мне открылась музыка этого древнего края. Я попытался рисовать его, но безуспешно. Тогда я начал писать автопортреты в экспрессионистской манере, пропустив через свою душу красоту этой земли.

Вторым большим событием была для меня книга Райнера Марии Рильке «Часослов». Это стихи о Боге, разговоры ищущего Бога со Всевышним. Язык этой книги — наивысшее искусство, содержание стихов — исповедание Бога, сильнее и чище которого никогда ничего не было произнесено.

Это не был Бог евреев или христианский Бог, это было явление бога, сотворенного человеком для себя. Этот бог был во всех предметах, в малых и великих вещах, в жизни каждого, в жизни народов. Бог был вездесущ.

Эти стихи взбудоражили меня, всколыхнув давно забытое, в них, казалось, была вдохнута моя тоска по Всевышнему. Странное это было время, которое я переживал: наполненный Богом и природой, я впервые забыл о самом себе.

Это богосознание тогда не обрело форм, оно было более литературным, чем действительным. И все же мне тогда стало ясно, что непреодолимая моя тоска выходила за пределы человеческого существования, что материализм, в который я верил, не имел более силы убеждения. Сегодня я знаю, что это литературное переживание Бога прошло для меня бесследно. Оно было и осталось лишь литературным переживанием, жизнь тогда еще не привела меня к Богу.

Июль 1914 года был полон слухов. Даже в тихом Ворпсведе стало известно, что убийство эрцгерцога

Австрии Франца Фердинанда может стать причиной войны. Но все это казалось таким далеким, что под словом «война» невозможно было представить себе что-то реальное. Первым ударом грома было объявление войны 1 августа 1914 года. Странным образом сообщение о мобилизации пришло в Ворпсведе на 24 часа раньше, чем в другие места Германии. Из-за недостатков в работе почты и связи одна из бременских газет передала правителю Ворпсведе по телефону это сообщение до того, как оно официально было утверждено в Берлине.

Так что о войне в Ворпсведе, собственно, узнали 31 июля. Возник страшный переполох. Немедленно был призван ландштурм (ополчение из лиц старшего возраста), хотя его мобилизация была рассчитана на более позднее время.

Я, слабосильное и к военной службе непригодное существо, 1 августа, дрожа от волнения, оделся и поспешил к местному правителю. «Ну, до того еще не дошло, чтобы вы уже понадобились», — сказал он. Расстроенный, я вернулся домой. Телеграммой родители умоляли меня, покинуть опасное местопребывание. Но я мужественно ответил: «Остаюсь рисовать». Следующие недели принесли много волнений. Стали обучать команду, охраняющую мосты округа. Но бодрая ночная стрельба, которая теперь слышалась, была лишь знаком успешной... охоты на уток.

Патриотизм расцветал. Несколько живописцев, среди них Генрих Фогелер, стали добровольцами. Другие начали делать наброски военных открыток. Женщины вязали теплые чулки и жилеты для храбрых воинов. Вспоминая все это, могу лишь сказать,

что с первого момента я ощущал сильное отвращение к войне.

Убийство было мне противно, и сообщения о быстрых победах меня не радовали. Я тогда, в начале войны, жил словно на острове.

Бедный мой брат последним поездом вернулся из Франции и сразу добровольно ушел в связисты. Когда я позднее, зимой, навестил родителей в Ганновере, я с удивлением смотрел на его друзей в униформе. Я слышал много патриотической болтовни, и даже мой отец был убежден в «правом деле» Германии. Зиму я провел тихо и мирно в Ворпсведе.

## Письмо восьмое

В этом Ворпсведе, где я жил, войны в действительности не было. Свободная жизнь художников не нарушалась. Иногда кого-нибудь из художников призывали, и он исчезал, но безделье и работа оставались. Жизнь в Ворпсведе таила в себе некоторые непонятные чары: она удерживала проживавших там художников от соприкосновения с каким-либо проявлением действительной жизни. Невзирая на войну, Ворпсведе был чем-то вроде башни из слоновой кости, отрезанной и изолированной от внешнего мира. В ней царил особый вид самопереоценки, самовосхищения и всех тех качеств, которые в больших городах были неуместны. Жизнь в этой деревушке, собственно, не имела развития. Жившие и работавшие там люди ничего не знали о жестокостях вне ее. Все это очень мне подходило. Благодаря ежемесячному векселю от родителей, я был свободен от всех материальных забот. Если и были какие-либо,

то лишь чисто эгоцентрического вида: собственное «я» в этом Ворпсведе очень возросло, оно определяло все. Чем я в то время занимался, над чем работал, я сегодня уже не помню — немного рисовал, немного писал. Никто меня не критиковал, никто не осмеливался говорить что-либо нежелательное.

Это было не восхищение друг другом, а своего рода удобство, характерное для жизни в Ворпсведе. Была там выставка, где можно было выставить и иногда продать картины. Некоторые из живших в Ворпсведе художников усвоили манеру, с которой не хотели расставаться. Например, был художник, рисовавший женские фигуры без лиц. Он не был способен написать лицо и сделал из этой неспособности оригинальность. И этот художник продавал свои картины, потому что было достаточно людей, которые стыдились признаться в своем непонимании живописи. Обычно это были люди достаточно богатые, чтобы покупать произведения искусства.

Таким образом у каждого живописца или скульптора в Ворпсведе был меценат, который считал, что поддерживает великого гения. Художники же были довольны, что нашли кого-то, кто оплачивал свою веру в них.

В прежние времена в Ворпсведе жили художники, которые по праву могли верить в свою миссию. Самой значительной из всех, живших в Ворпсведе личностей, была Паула Модерзон. Ее картины при жизни (она скончалась в 1907 г.) не были оценены по достоинству. Ее считали несколько странной и своеобразной. Она писала ворпсведеский ландшафт, как никто до нее: без всякой романтики, ясно, прозрачно и довольно многоцветно. Люди на этих картинах

были частями земли; выросшие из нее, они оставались темными земными созданиями, по воле судьбы вросшие в этот обширный край под необъятным небом. Паула Модерзон изображала болотных людей, создания необычайной красоты и величия.

Она писала свои картины неистово и неосознанно. В ее стиле много было от Гогена, без копировки она стремилась к декоративному виду французского живописца. Позднее она долго жила в Париже, где могла впитывать картины всех великих европейских художников. Но она вернулась в Ворпсведе не только для того, чтобы родить нелюбимому мужу ребенка, а для совершенствования.

Она скончалась от родов. Кроме Генриха Фогелера, Бернгарда Хетгёра и поэта Райнера Марии Рильке, никто, наверное, не догадывался о значении этой уникальной художницы, картины которой вообще не имели цены. После ее смерти их можно было приобрести за гроши. Позднее они принесли своему владельцу стократное. Как художественное явление в немецком мире Ворпсведе завершился Паулой Модерзон.

Я гравировал иллюстрации к таким книгам, как «Легенды Ваала Шема» Мартина Бубера. В эти офорты я вкладывал всю свою заглушенную религиозную страсть. Образ хасидского раввина Ваала Шема Това в книге, за иллюстрирование которой я взялся, был вырисован очень наглядно. Здесь проявлялся вид еврейства, находившегося по ту сторону всех синагог, или обрядового еврейства. Эти восточные евреи, образы в книге, были связаны с природой, видели и чувствовали своего Бога в деревьях и созданиях. Этот вид еврейства, созданный Марти-

ном Бубером, был более пантеистическим, чем ортодоксальным.

Мое личное знакомство с Бубером укрепило мое «новоеврейское» сознание. Я рисовал этих евреев в широких одеждах, подобных восточным кафтанам. В то время я не знал, что нет, собственно, связи между западно-еврейским и восточно-еврейским характером. У меня тогда было странное ощущение. Я был единственным евреем в Ворпсведе и изображал еврейскую жизнь, которая мне в основном была чуждой.

Но мне хотелось, чтобы в моей жизни проявлялась какая-нибудь форма еврейства. Ортодоксальное, западно-еврейское синагогальное еврейство мне стало чуждым как по языку, так и по пустоте формул, которые были для меня бессмысленны. Так я как художник стал отождествлять себя с хасидским движением, не зная, что я тем самым приблизился к национал-еврейству. В то время я на всех моих картинах и офортах рисовал звезду Давида и особенным образом чувствовал себя евреем.

Я должен рассказать о том времени, важность которого я тогда совсем не сознавал, потому что только сейчас понимаю, что мои старания тогда были направлены не на еврейское, а на религиозное.

Но все это оставалось без последствий. Я рисовал, делал офорты, читал, живя деревенской жизнью ворпсведеского художника.

Где-то в мире шла война, убивали людей. Когда я пасмурным ноябрьским днем получил известие о смерти моего лучшего друга, меня охватил ужас. Но и это меня не пробудило. Я ходил словно во сне, и все вокруг мне было безразлично.

На Рождество я посетил родителей, увидел брата в военном мундире, многих друзей и был рад снова удалиться в одиночество Ворпсведе.

В марте я получил письмо от женщины, которую, собственно, как я считал, давно забыл. Гуло писала мне, что намеревается предпринять весеннее путешествие на север и чтобы я сообщил ей, нахожусь ли еще в той захолустной болотной деревушке. Письмо это очень меня обрадовало, но ответа я не написал. Таким я был тогда.

В апреле ко мне явилась дама в фетровой шляпке и фиолетовом плаще. Я был более смущен, чем обрадован, ибо действительность мне была совершенно безразлична. Но делать было нечего, Гуло осталась на две недели в Ворпсведе.

Мы ежедневно были вместе. На прогулках во время бурь, града или снегопада я вдруг узнал другую женщину, не ту, которую видел раньше. Это человеческое существо по имени Гуло было товарищем и спутником без всякого кокетства и светскости. Наоборот. Она любила бродить по глубоким лужам, бежать навстречу буре, промочив ноги, пить водку. Гуло превратила изнеженного городского буржуа в обыкновенного парня.

Музыка для нас с ней играла, конечно, большую роль. В то время не было еще радио, но расстроенное пианино в деревенской гостинице «К Хембаргу» гремело от нашей игры в четыре руки. Мы играли симфонии Роберта Шумана, причем с большим вдохновением, чем талантом. Но Гуло понимала мою манеру намекающей игры, а я понимал ее несколько более педантичную манеру. Ее тонкие руки пианиста владели техникой игры, которая мне

вследствие моей изувеченной руки не так удавалась. В своей трезвой манере моя подруга рассказала мне однажды вечером, что она потомок Роберта Шумана, на что я сказал: «В профиль ты, собственно, похожа на Бетховена».

Но наступил день, когда я снова был один. Однако что-то изменилось. Я чувствовал свое одиночество и страдал от него. Позднее я понял, что влюблен.

Несколько недель я еще оставался в Ворпсведе, но потом решил отправиться в Берлин.

### Письмо девятое

Хочу тебе, дорогой мой сын, описать, как выглядела Германия в первую мировую войну.

Внешне жизнь продолжалась, Германия побеждала на всех фронтах, но так только казалось, потому что поражения умалчивались перед народом. Я был слишком молод и запутан своими художественными идеалами, чтобы правильно оценить политические и военные сообщения. Одно я знаю точно: я ощущал лишь неуважение и отвращение к той победительской мужественности, которая в то время была в моде. Я ненавидел убийство, рисовал и писал тогда картины, которые можно было назвать вполне пацифистскими. В то время не было опасно иметь собственное мнение. В кайзеровской Германии существовало определенное право для человека без солдатского мундира. В нем, в этом мундире, конечно, всякая личная свобода кончалась.

В то время немцы почти все были глубоко убеждены, что немецкая армия — лучшая. Распространялся патриотизм, начинавшийся у вяжущих женщин и

кончавшийся у цитирующих Ницше профессоров. Насилие стояло выше права. И пока Германия применяла насилие, немцы его оправдывали.

Часть художников объединилась вокруг издания «Кампания», которое не скрывало своего отвращения к войне. Безусловно, и я принадлежал к этому кругу. Издатель, бывший велосипедист-гонщик, женился на энергичной русской женщине, которая не скрывала своего революционного настроения. Благодаря ее влиянию, несмелый супруг стал кем-то вроде героического борца за права и свободу. Этот листок каждым своим номером рисковал быть запрещенным.

Вокруг «Кампании» собирались лучшие люди, назову лишь некоторых: Франц Верфель, Макс Брод, Рене Шикеле, Фердинанд Хардекопф, Людвиг Рубинер и многие другие, имена которых позднее стали широко известными.

Для меня сотрудничество в этом листке было делом чести и отличия. Вопрос гонорара издателем решался просто: он вообще не платил. И все же молодые люди все были горды сотрудничать в этом листке, который мещане высмеивали, но оставшись, несмотря на войну, в своем уме ценился.

Сегодня я знаю, сын мой, сколько мужества и смелости в то время необходимо было, чтобы открыто выступать против войны. Не было опасности для жизни, но яд милитаризма затуманил многим мозги, так что поддержка небольшого издания было выражением гражданского мужества. Много лет спустя после поражения немецкого милитаризма во всем мире возросло преклонение перед военной силой. Причина этому, конечно, была веская, ибо борьба

была объявлена самой войне, но носители этой борьбы слишком скоро забывали, зачем они надели солдатский мундир своего варварского занятия.

Лишь тогда, когда все человечество поймет, что убийство невозможно отменить убийством, наступит настоящий мир на земле.

Весь 1915 год я предавался живописи. Материально я был независим, но становился все более зависимым от истинно любимой женщины. Она была слишком занята и не могла мне уделять много времени. Но в те моменты, когда мы бывали вместе, мне казалось, что время останавливалось. Я все больше распалялся в своих чувствованиях. Сознаноюсь, что не обращал внимания на то, как моя подруга относилась ко мне. Я любил, и больше меня ничего не интересовало. Насмешливость и холодность Гуло, с которыми мирилась моя дружественная любовь, меня не отпугивали. Они, наоборот, до того увеличивали мою чувственность, что я часто забывал, что в действительности меньше с ней связан, чем в своих мечтах.

Все это я тебе говорю, сын мой, надеясь, что ты, если когда-нибудь полюбишь, будешь таким же беззаботным. Все целенаправленное мне было чуждо. Я лишь внутренне участвовал, через мое восприятие, а не через реальность.

Так, я однажды с Гуло перешел на «ты». Она лишь сказала: «До этого мы еще не дошли». Я сильно расстроился, почти отчаялся. В моем юношеском увлечении я забыл, что доверительность не может быть односторонней. Но таким я был: я думал лишь о себе.

Вспоминая зиму 1915-1916 годов, я вижу себя сидящим на галерке оперного театра, слушающим

представления Королевской капеллы под руководством Рихарда Штрауса. А внизу, в партере, сидела моя глубоко обожаемая подруга со своим главным врачом, к которому я ее очень ревновал. Я пользовался этим чувством, делая рисунки и картины. На проблемы того времени я обращал внимание лишь постольку, поскольку они касались меня самого. Эта эгоистичная жизнь была характерна для меня.

Сегодня я знаю, что из этого вытекало многое, что становилось помехой на моем жизненном пути. Я был жертвой буржуазного воспитания, которое требовало от детей лишь послушания законам своего класса. Я не подозревал, что началось устранение всех классов. Как художник я был поставлен между буржуазным миром и мнимой свободой, ничто не требовало от меня выбора одной из сторон. И так я жил безо всякой связи с обществом, и все же я еще был сыном из «хорошей семьи». Мой месячный вексель был следствием успешной деятельности моего отца.

Что из меня получится, я не знал. В то время считали, что успех в любом деле должен оплачиваться. Но позднее я узнал обратное. Вполне логично было мое желание весной 1916 года вернуться в Ворпсведе, ибо это был тот остров, который я так любил. Это было бегство от действительности. Когда я сообщил подруге о своем решении, она сказала: «Нет, мы потом отправимся вместе».

Я послушался, потому что ничего не хотел делать без ее согласия. Я уже понял, что был Гуло небезразличен. Мне это льстило, но было также очень неприятно отказываться от своих планов.

Через несколько месяцев — мы давно были на «ты» — она во время лесной прогулки сказала: «Мы,

собственно, могли бы пожениться». В этот момент на дереве застучал дятел. Я словно онемел, что со мной случалось редко (так как я был очень разговорчив). Ответом моим могло быть только «да».

Это было в марте 1916 года. В апреле я уехал в Ганновер, чтобы оповестить моих родителей. Отец в то время был тяжело болен, так что я сообщил о моем решении только матери. Она, растерявшись, сказала: «Зачем же вам жениться?»

В мае 1916 года в возрасте 53 лет умер мой отец. Перед его смертью я поспешил из Берлина в Ганновер, чтобы проститься с ним. В ночь, когда он умирал, я сидел у постели и рисовал его лицо, на которое приближавшаяся смерть наложила отпечаток величия. Раннюю кончину отца я воспринял как рок для меня, ибо он умирал в тот момент, когда я старался построить новую жизнь.

В эту майскую ночь я впервые осознанно увидел, как человеческий образ преобразуется в лицо отца и деда. Когда мой отец умер, он в точности был похож на своего отца. В 8 часов утра позвонил почтальон и принес небольшой пакетик, в котором находилось присланное Гуло обручальное кольцо. Это было точно в час кончины моего отца. Я видел раввина, д-ра Гронемана, склонившегося над умирающим, и слышал, как он произносил символ веры евреев «Шма Исраэль».

Отец мой с трудом приподнялся, уста его выдохнули слово «эход». В свой смертный час мой отец этим словом засвидетельствовал свою веру в вечного единого Бога.

Я же оставался скованным и незатронутым. Для меня все это было лишь каким-то шаблонным при-

знанием. Мой Бог был мертв, даже в тот час я сознавал, что нет во мне веры.

6 июня 1916 года я женился.

Наше счастье было безоблачным до 15 сентября, когда мне пришла повестка в армию. Меня повезли в небольшое местечко Зольдин в Ноймарке, где я из штатского человека превратился в очень раздраженного солдата. Товарищи мои, в возрасте от 35 до 45 лет, были представителями всяких профессий, некоторые прежде отбывали тюремное заключение. На военной службе они чувствовали себя, как на свободе. Мне пришлось спать в одном большом помещении с двумястами других людей.

Никогда не забуду я запах казармы. Ее вонь навсегда осталась в моем носу.

Это было чумное дыхание милитаризма.

Позднее меня отправили к летчикам в Адлерсхоф. Признаюсь, что в этом переводе я был совершенно ни при чем. Как бывает при бюрократизме, для перевода подходила первая буква моей фамилии, в действительности же добрая судьба сохранила меня от отправки в Македонию. Так я остался вблизи Берлина и вскоре встретился со своей молодой женой.

Моя солдатская выправка заставляла краснеть каждого гордого пруссака. На мне были широкие вельветовые брюки, тесный зеленый жакет с синими погонами, а на длинноволосой голове балансировала пехотная бескозырка.

Когда я зашел в канцелярию летной части в Адлерсхофе, раздался сотрясающий стекла хохот. Мои товарищи корчились от смеха. Подошел дежурный офицер и спросил:

— Вы что, из русского плена?

— Я немецкий солдат, — ответил я сквозь зубы.

Один мой вид мог бы сказать военному руководству Германии, что победы для Германии не предвидится.

В действительности я был просто переодетый штатский, солдата во мне никто не видел даже тогда, когда я носил элегантную форму с гвардейскими и летными знаками отличия. Вскоре меня перевели в Берлин, и я зажил безопасной жизнью штабиста. Мне было дозволено проживать в собственной квартире в Шарлоттенбурге. В 4 часа дня я из бюро отправлялся домой. Там я немедленно переодевался в штатскую одежду, чтобы ехать вечером в кафе. Это, конечно, было запрещено, и если появлялся контроль, большая часть посетителей уходила в мужской туалет.

Я так тосковал по штатской жизни, что делал все, чтобы не считаться солдатом. И в этом отношении я, не задумываясь, высказывал свое мнение.

Когда я однажды по приглашению был у одной очень патриотично настроенной родственницы, эта дама с укором сказала мне:

— Почему ты не носишь одежду короля?

Я ответил:

— Я рад снять с себя эту обезьянью куртку.

Больше меня туда никогда не приглашали. Я жил со своими друзьями, не имея никаких родственных связей. Только одна мать навещала меня и заботилась обо мне. Она очень хорошо ладила с моей молодой женой. Только одно для нее было горько: Гуло не была еврейкой. Она была воспитана по-католически, но не принадлежала к какой-либо конфессии. Напрасно старалась мать моя убедить ее, что она

должна бы стать еврейкой. Моя жена, вежливо улыбаясь, противилась. Я сам к этому был равнодушен. Еврейское во мне, конечно, было, однако я не считал нужным это подчеркивать. Никто этого от меня не требовал.

В то время в Германии принадлежность к какой-либо религии не имела никакого значения. Тем более в кругах служителей искусства об этом и речи не было. Неверие в Бога для того поколения было чем-то само собой разумеющимся. Не зря читали Фридриха Ницше и находились по ту сторону добра и зла.

Позднее все это, конечно, изменилось, и факт принадлежности к еврейству стал значимым. Однако в то время антисемитизм был больше всего явлением исключительно бытовым.

Помню, что в Бремене жена одного купца, фрау Марта Фогелер, спросила о выступавшем там прекрасном пианисте: не еврей ли он? Это был Луи Грюнберг, американец, учившийся у Ферруччио Бузони.

— Конечно, Грюнберг — еврей, — ответили ей.

— Ах, как жаль, такой одаренный человек, — сказала она.

Приближение конца войны немецкий народ замечал не столько по военным поражениям, о которых умалчивали, сколько по все более ухудшавшемуся питанию. В магазинах вместо кур продавались вороны, и колбаса в большей своей части состояла из воды. Зимой 1917 года почти не было топлива. Люди голодали, и вера в победу сильно пошатнулась.

В 1918 году в Берлине прошли большие стачки. Когда бастующие рабочие с огромными плакатами шли по улице, мы, солдаты летных частей, стояли на балконах и махали им руками. Германия умирала в

погоне за победой. При очередной проверке на пригодность к боевым действиям летных частей даже меня признали годным. Это ошибочное определение вскоре было изменено на «пригодность к гарнизонной службе», так как я и душевно, и физически, кроме службы в бюро, к другой военной деятельности не был способен. Настроения в Германии были таковы, что открыто говорили о поражении стран Центральной Европы. Даже наш командир, подполковник Зигерт, однажды на утреннем совещании между прочим сказал офицерам: «Войну мы все равно уже не сможем выиграть».

Летом 1918 года произошел случай, запомнившийся надолго. В тот вечер я вместе с летчиком Зандигом дежурил у телефона. Вдруг явился солдат с депешей из Министерства вооруженных сил. Он потребовал на переговоры офицера службы. Мы очень сожалели, так как господин старший лейтенант Боте давно ушел к своей невесте.

— Давай сюда, — сказали мы солдату, подержали телеграмму над паром, вскрыли и прочли следующее: «Всем экипажам быть в казармах и бюро. Опасность революции».

Мы с Зандингом оставили телефонную службу и поспешили отнести телеграмму на квартиру дежурного офицера. Задание это мы выполнили не только быстро, но и с удовольствием. Испуганное лицо старшего лейтенанта нас очень позабавило. На другой день мы распространили тайную весть по всем бюро, и суждение военнослужащих было единым: опасность! Осенью 1918 года даже в газетах писали, что положение не ахти. А в октябре 1918 года мне вечером позвонил мой друг Франц Пфемферт и ска-

зал: «Приходи завтра в три на станцию, твоя тетя приезжает».

Когда подъехал поезд, даже солдаты комендатуры бросились встречать «узника» Карла Либкнехта.

Его несли на плечах до выхода из вокзала, полиция бессильно смотрела на происходящее. Внизу стояли наготове дрожки, и тысячи людей следовали за медленно едущей повозкой через Потсдамскую площадь до русского посольства.

Карл Либкнехт с поднятым сжатым кулаком стоял на повозке и говорил речь, слова которой никто не понимал. Началась революция.

## Письмо десятое

Революция в Германии не была неожиданностью. Ее приближение чувствовалось уже тогда, когда газеты не могли уже молчать о поражении. Важно теперь было не то, что годами называли победой, а важна была форма превращения войны в мир.

Помню, что президент США Вильсон в одном из своих посланий требовал отставки кайзера. Это никого не поразило, и все осуждали эту недавно еще святую тему.

В октябре я оставил военную службу, так как берлинский народный театр «Фольксбюне» запросил меня на должность художественного консультанта. Так что в известный день 9 ноября я был уже штатским. В то утро я находился в театре, в комнате директора, разговаривавшего как раз по телефону. Этот господин Нефт был старым социал-демократом и профсоюзным деятелем, имел хорошие отношения с стремящимися к власти социал-демократами.

Тот телефонный разговор незабываем: «В 12 часов должна начаться революция, — сказал мне управляющий. — Вы можете сказать мне об этом что-то более точное?» Я стоял у окна и наблюдал, как группа рабочих-демонстрантов с красными знаменами двигалась по улице. В этот момент господин Нефт сказал: «...Так, значит, у вас заседание в 4 часа... до того ничего не может случиться. Это хорошо, благодарю вас».

Я указал господину Нефту на демонстрирующих рабочих: «Они, кажется, ничего не знают о заседании».

Так разразилась немецкая революция — немного не по программе, немного преждевременно, однако это была революция.

Вскоре я вместе с актером Вильгельмом Дитерле оставил театр и поехал на метро в Шарлоттенбург. Пока мы находились внизу, под землей, вверху победила революция, так как на площади Рейхсканцлерплац все уже носили красные бантики на груди. Дома меня ждала жена. Она была возбуждена, и можно сказать, что мы оба происшедшими событиями были довольны. Дома нас ничто не могло удержать.

Ты должен понять, мой мальчик, что эта, нередко хулимая, революция 1918 года действительно была нашим «великим временем».

Не верь, если тебе скажут, что это был лишь мятеж людей, которым надоели голод и нужда. Это было больше. Это действительно было началом нового времени. Война кончилась бесповоротно, и эта война должна была быть последней. Такова была воля лучших людей.

В то время мы все верили в новое лучшее будущее. Сегодня же лишь самым фанатичным оптимистам удается верить в восстановление разрушенного мира. 9 ноября в 8 часов вечера был образован «Совет интеллектуальных работников», в который вошел и я. Первое заседание было в Рейхстаге. Были выдвинуты такие требования, как ликвидация академий, обобществление всех театров, национализирование всех свободных профессий, упразднение всех званий и немедленное создание всемирного парламента.

Это были великие слова, и была воля к их выполнению, и мы все знали, что со старым нужно радикально, т. е. раз и навсегда, покончить. Слово «радикально» играло большую роль во всех выступлениях, это было совершенно само собой разумеющимся словом, предпосылкой для существования нового человека, каким нам хотелось его видеть.

Над всем насилием возвышалось слово «человеколюбие», осуществление которого было нашей задачей. Не следует смеяться над тем временем, когда молодые люди решили построить новый мир.

Величие нашего желания не противоречило нашей силе, только позднее выявилось, что революция победила не в той мере, как нам того хотелось. Трагичность немецкой революции 1918 года состояла в ее половинчатости. Немцы, хотя и понимали ее смысл, однако не были готовы разрушить все препятствия, чтобы построить новое, — это было против их натуры.

Более чем характерным было то, что во время демонстрации, растянувшейся во весь зоопарк, распорядители бегали вдоль колонн и кричали: «Не наступайте на газоны!»

Война кончилась, я пережил ее в безопасности, в то время как мой бедный брат лишился левой руки. Он вместе с матерью жил в Мюнхене. Мы виделись раз в год. Война была виной нашей скудной жизни. После голодных 1917-1918 годов питание улучшилось. От американских квакеров мы получали немного сала, которое хотя и пахло карболкой, но насыщало нас. Толстые плитки шоколада, которые продавались, были очень вкусными. Однако гораздо важнее всех материальных благ было то, в чем мы, молодые люди, действительно участвовали.

Мы в то время находились в состоянии чрезмерности. Стреляли ли спартаковцы или бушевала реакция — это нас мало заботило, ибо наступило новое время, и писатель Леонхард Франк заявил, что «человек добр».

Хотя настоящего мира не было, в наших сердцах он цвел. «Никогда больше не должно быть войн», — так мы пели, рисовали, писали в стихах.

В то время я стал одним из основателей «Ноябрьской группы» — объединения живописцев и скульпторов, документировавших экспрессионизм как мировоззрение в слове и образах. Пафос чувства человечности владел нами. Поэт Людвиг Рубинер воспевал его в гимнах, Альфред Вольфенштейн пел песнь песней о «товариществе людей». Появлялись газеты и журналы, и мы во всем участвовали. Солнце счастья человечества высоко поднялось на нашем молодежном небосводе. Нас мало касалась действительность, в которой текло много крови.

15 января 1919 года были убиты Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Мы писали манифесты протеста, открыто выступая за освобождение человека.

Я встретил Эйгена Левине. Он был чистейшим явлением полной бескорыстности, когда-либо встречавшейся мне в жизни. Он погиб в мае 1919 года по приговору Мюнхенского военно-полевого суда, после поражения Баварской советской республики.

Величие и красоту того времени, сын мой, описать невозможно. Это время было великим не потому, что люди в нем были велики, а потому что лучшие хотели великого.

Сегодня я яснее понимаю великое время 1918 года, чем когда-либо. В том, что стремление того времени утонуло в кровавом варварстве, было не виной людей 1918 года.

## Письмо одиннадцатое

Это были великие, плодотворные годы. И мы, 20—30-летние молодые люди, жили в то время. И для меня с Гуло это было самое чудесное время в нашей совместной жизни.

У каждого из нас была своя профессия: она работала врачом в больнице в Вестэнде, я художником в театре «Фольксбюне» на Бюловплац. У нас была общая квартира в отдаленном Вестэнде, который считался тогда еще пригородом. Друзей у нас было столько, сколько мы хотели, а объединяла нас с ними общая радость и надежда в жизни.

Не раз я, удивленный, стоял за оформленными мной кулисами, видел актеров в моделированных мной костюмах и по-детски радовался исполнению моей юношеской мечты. Ибо театральная живопись, моделирование декораций и костюмов всегда были моей страстью. И я сам того не ведал, что это

был мой путь от чистой живописи к литературе, которой я позднее посвятил свою жизнь.

В 1920 году вышла моя книга «Революционное искусство», содержащая стихи и рисунки в чисто экспрессионистском стиле. Эту книгу я позднее, в 1937 году, видел в общественной библиотеке в Нью-Йорке. Я был потрясен художественной силой моего тогдашнего наивного представления.

Да, мы были по-детски наивны, и даже в наших самых изоощренных произведениях искусства сохранялось что-то детское, что должно было испугать обывателя, а нам было в радость. Против экспрессионизма ничего не говорили. Им часто злоупотребляли, но некоторые из лучших художников этого стиля времени сделали что-то вечное, а именно искусство.

Жизнь моя в то время так была наполнена внешними и внутренними событиями, что трудно было бы их все перечислить. В отдельности они и не важны, а лишь в целом.

Весной 1920 года моя жена отправилась в качестве врача в Ворпсведе. Я остался в Берлине, готовый наслаждаться жизнью. И я это делал. Сдерживавших мешанских предрассудков у меня не было, а возможностей испытать все — много. Вспоминая ту пору, я подвергаюсь искушению его морального осуждения. С моей сегодняшней точки зрения, я это должен сделать, однако не делаю, потому что знаю, с какой честностью и естественностью я тогда делал казавшееся мне необходимым. В 1920-1923 годах зимой и весной я жил в Берлине, а летом и осенью — в Ворпсведе.

Я жил шумно и страстно. В те годы инфляции разрушалось и уважение ко многим устоям. Не стало

больше уважения к браку или к дружеским связям. Свобода человека проявлялась в независимости, раньше неизвестной. Это были годы анархии и безответственности. Но все находилось под нажимом все более ухудшавшегося материального существования. Так эмоциональное стало отдушиной. Это были бешеные годы. Деньги потеряли цену, миллионы были ничто. Все мы были одержимы жаждой переживаний, которые считали содержанием жизни. Сегодня я вижу ту головокружительную пропасть, ринуться в которую был готов почти всякий.

Даже в болотной деревушке Ворпсведе инфляция немецкой марки стала центром ежедневного существования. Был там отель, большой дом «Брунненхоф», использовавшийся художниками и жителями соседних городов для устройства самых необузданных веселий. Однажды ночью этот «Брунненхоф» сгорел дотла. Это было перед самым концом инфляции. Как символ я сегодня вижу перед собой пламя горящего дома. После этого пожара в Ворпсведе стало тише, и люди задумались о цели собственного существования.

Не могу забыть 9 ноября 1923 года, день, который стал днем позора и глубочайшего унижения Германии.

Я не говорю о 9 ноября 1918 года, когда началась революция уставших от войны людей, которые в своей поверженной стране хотели создать демократию, а думаю о том дне, когда впервые выступили гитлеровцы. Тогда этот «Гитлер-путч» был побежден вооруженными силами республики. Но гитлеровское привидение в тот несчастный день впервые появилось с претензией на руководство.

Случилось так, что я в те дни был в Мюнхене, чтобы с братом отпраздновать наш день рождения. День 9 ноября пробудил нас от беззаботного сна. До того момента никто из нас не верил в серьезность того «движения», инициатором которого был бывший маляр из Браунау. В то время люди еще не знали, что такое НСДАП (Национал-социалистская рабочая партия Германии), которая рвалась к власти.

Утром 9 ноября нас испугало сообщение о том, что в Мюнхене образовано «национальное правительство». Брат посоветовал мне немедленно уехать в Ворпсведе, но я решил остаться. Так я стал свидетелем той позорной сцены у «Фельдхернхалле», где стреляли и лилась кровь. Я в тот час находился в «Бодеге» на Мафейштрассе, где слышны были выстрелы и шум. Я видел возбужденную бегущую толпу, слышал крики: «Долой Кара!», «Долой предателя!»

Странно, что не слышно было криков «Долой Гитлера!» Люди казались возмущенными тем, что господин фон Кар в последний момент поднял войска против гитлеровских мятежников. Под угрозой оружия фанатичного Гитлера он в предыдущий вечер в пивном подвале дал согласие на «национальное правительство Германии».

Таково было положение. Разочарованная толпа по-видимому польстилась на обещания Гитлера.

У дверей стоял официант Антон: «Сейчас еще нельзя выходить... — говорил он, и через какое-то время: «Теперь можем идти... Мы справились...»

Когда я в 1933 году снова был в «Бодеге» (Гитлер был уже рейхсканцлером), я с иронией сказал Антону: «Ну что, справились?» — на что он разочарованно пожал плечами.

Так я был свидетелем гитлеровского путча. В то время я, как и большинство других людей, еще не понимал, что это начало конца Германии. Сегодня это знает весь мир.

## Письмо двенадцатое

Брак мой, собственно, уже развалился. Совместная жизнь с моей женой показала полное различие наших путей, так что гармония состояла лишь в духовном смысле. В те годы после инфляции я находился в тяжелом материальном положении. Жена моя старалась заработать на жизнь, а я ей ничем не мог помочь. Я не был способен ни к какому общению — слишком эгоистичен, слишком занят собственным «я», не мог противостоять материальным трудностям в семейной жизни. Сегодня я сознаю, что был просто недостаточно мудр, чтобы сохранить то, чего я потом больше никогда не находил.

Я уехал в Берлин, жил там холостяком и пытался живописью заработать на жизнь.

Это постинфляционное время в Германии было приемлемо лишь для тех людей, которые из избытка послевоенных лет собрали себе духовный фонд. Успех в моей деятельности в качестве живописца был на исходе. Несмотря на то, что мои картины ежегодно выставлялись и что я делал иллюстрации, декорации для киносъемок, я готов был расстаться с живописью и стать писателем.

Нужен был лишь небольшой толчок. Случилось это во время моего первого посещения Италии, где я глубоко осознал ненужность моих художественных стараний. Я понял, что никогда не был человеком

видения, а всегда пользовался словом для усиления выражения моего искусства. Во Флоренции я видел картины, в которых все, к чему я стремился, было уже решено.

Мой переход от живописи к писательству совершился далеко не сразу. Образующее и рисующее слово все больше стало служить моим художественным намерениям. Мое посещение Италии, особенно переживание при виде примитивных итальянцев в Сиене, ускорило это развитие.

Экспрессионизм как искусство выражения перешагнул свой кульминационный пункт и к своему концу впадал в новый классицизм, к которому я как художник не имел отношения. Я все более осознавал, что содержание картины для меня важнее формы. К своим работам я относился очень критично и понял, что при всем даровании мое искусство не способно развиваться. Я понял слова Альбрехта Дюрера: «Художник должен быть внутренне наполнен образом и должен уметь вырывать его». «Образ» внутри меня не получал прироста извне и потому засох.

Внешний толчок к окончательному решению порвать с живописью дала мне встреча с художником Оскаром Кокошкой, вместе с которым я некоторое время жил у друзей в Берлине. Мы с ним много гуляли, могли обо всем говорить, и мнения наши мало расходились. Однажды он в Грюнвальде бросился на траву, вырвал зубами былинку, разжевал ее и сказал: «Нужно понять ее на вкус». В этот момент мне стало ясно, что он действительно был одержимым природой человеком, сохранившим в себе духовное чувство к матери-земле. Я понял, что являюсь «духовным индивидуалистом». Затем Кокошка сказал в своей

непринужденной манере: «Да, если у вас нет этой тяги... этой потребности пожрать земли, тогда вы не настоящий художник».

По дороге на юг я снова встретился с той женщиной, которую знал в молодости. Это была твоя мать, сын мой, с которой мы в 1925 году посетили красивые города Италии.

Мы поехали из Флоренции в Сиену, где в небольшом музее я видел картины тех сиенских художников, которые мне окончательно показали, что мой путь живописца закончен. Оттуда мы через Рим и Неаполь отправились в Сорренто, где оставались два месяца. Чтобы познакомиться со страной, мы поехали на Капри, пешком ходили в Анакапри, из виллы Тиберия любовались красотой Неаполитанского залива. Прелести юга не сравнимы ни с чем.

Под этим нежным небом совершались все важные мировые события. Средиземное море было океаном древности, на котором строился наш мир. Запахи юга, апельсины и лимоны на деревьях, мрачный, угрожающий Везувий — под синим небом днем и под звездным сводом ночью: все это было иначе, чем на открытках. Решающим была не пестрота, а атмосфера юга, созвучие всех живых цветов природы — это был мир Италии. Всеми чувствами я наслаждался тем временем. Там я решил впредь быть продуктивным не посредством красок, а слов.

На обратном пути я задержался в Мюнхене, чтобы несколько недель побыть с братом. Как близнецы мы внешне были очень похожи, но пути наши были столь различны, что едва ли можно было говорить о внутреннем сходстве. Брат мой был коммерсантом и жил практичной жизнью.

Он был добродушным, но вспыльчивым человеком, который извинял свои нервные срывы ранениями на войне. Вспоминаю разговор с ним. Речь шла о религии. Брат с пристрастием пытался мне объяснить, что он прежде всего чувствует себя евреем, а затем уже немцем. Я не спорил, я никогда толком не знал различия между немецкой самобытностью и еврейством. У меня не было никакой гражданской гордости. Даже во время республики я мало участвовал в государственных делах.

С еврейством меня связывало собственно лишь мое ортодоксальное воспитание. Современного еврейского для меня не существовало. Мир мой простирался от Арктики до Африки. Я везде был дома, где находил взаимопонимание и единоподушие. Слово «интернационал» означало для меня преодоление национализма, восход к гуманности.

Я видел, как мой брат из забытой религиозности бежал в еврейское национальное сознание, у которого не было другого содержания, кроме надежды на Палестину. И я спросил его: «Почему ты не эмигрируешь?» Растерявшись, он стал доказывать мне, что сионизм никого не обязывает эмигрировать в Палестину, но когда-нибудь позже он это обязательно сделает.

10 января 1944 года мой брат умер в Иерусалиме.

В 1926-1930 годы я не находил ни партии, ни политического направления, которые были бы мне по душе. Религия вообще не играла для меня никакой роли, она была, так сказать, прошлой историей. Я не признавал жизненности религиозного движения. Даже слушая в праздник Пасхи «Страсти по Матфею» или Рождественскую ораторию Иоганна

Себастиана Баха, я не сознавал решающую значимость события, хотя чудесная музыка была лишь сопровождением.

В то время каждый одаренный способностью к музыке человек, слушая «Страсти по Матфею» или «Девятую симфонию», не задумывался о содержании.

Сегодня я в этом вижу некую неправду, ибо историю страдания Спасителя или гимн радости невозможно воспринять лишь как музыкальный орнамент. В так называемых образованных кругах того времени формально-художественное нередко переоценивалось и поддерживалась определенная безответственность тем, что эксперты по вопросам искусства доказывали уникальность позиции искусств и их деятелей. Никто не был обязан защищать свои слова, картины или дела. Не было давления совести, так как совесть была преодолена. Я говорю лишь о слое видных деятелей искусств. Бесспорно, было достаточно людей, знавших, что их время, как, может быть, никакое другое, требовало ответственности.

Представь себе, дорогой мой сын, что в то время в Германии существовала форма государства, называемая республикой, но она никоим образом не могла называться демократией. Несмотря на благие устремления ответственных мужей во главе государства, немецкий народ в своей основе не был затронут целями Веймарской конституции.

Ложно было понято слово «демократия», так как у власти оказался не народ, а ряд добро- или злонамеренных личностей со своими деловыми или профессиональными интересами. Люди думали, что время

само подготовит Германию к демократии. А получилось наоборот: оно позволило прийти к власти в Германии величайшему варварству.

Ты спросишь меня, сын мой, как мы, стоявшие у истоков духовных постов — печати, радио, театра, — это допустили?

Сегодня, когда в Германии еще бушует война, я вижу яснее, чем когда-либо, что большинство наших усилий были слишком ничтожны и слабы. Конечно, газетные статьи, инсценировки по радио, эстрадные и театральные представления были пламенны и убедительны. Но они достигали лишь небольшой части народа. Мы, заинтересованные духовными делами, даже не подозревали, что в предместьях велся рукопашный кровавый бой против нацистов, и это случалось почти каждую ночь. Мы слишком запутались в форме нашего «искусства выражения», чтобы боевым будням принести хоть какую-нибудь пользу. Нам, сегодняшним изгнанникам, очень легко признавать свои ошибки. Сегодня все должны бы знать, что мы в то время были обязаны помочь преодолеть так называемые конфликты между республиканскими партиями, чтобы действительно превозмочь коричневого врага.

Были, конечно, и такие, которые понимали и соответственно действовали. Но их было мало. Это были тихие, неизвестные герои, которые потом сгнили в концлагерях или кончили на эшафоте. Радикализм так называемых ведущих слоев не имел отношения к будничной борьбе простых людей, которые рисковали всем своим существованием. Так обстояли дела в 1929-1933 годах, когда мы еще не верили в серьезность нацистской опасности. В 1932

году из печати вдруг стало известно о «Боксхеймеровых документах», раскрытых в то время прусским правительством. Но кто же тогда мог предположить, что все те программные пункты нацистов действительно будут выполнены?!

Большинство передовых газетных статей доказывало, что реализация этих мерзостей невозможна. Сознание того, что мы живем в веке прогресса, было в то время очень мощным.

Но сегодня, сын мой, мы знаем, что позднее действительность далеко превзошла те программные пункты документов, опубликованных каким-то болтливым нацистом. Там были лишь намечены Освенцим, Майданек, Бухенвальд, а не весь план ужасов, известный сегодня миру.

Можно лишь надеяться, что все передовое духовное в мире осознает свою единственную обязанность: действительно помогать, не стоять в стороне. Пусть никто не говорит, что у него иная задача, чем отвлечь несчастье, подобное тому, которое случилось в 1933 году в Германии. Горы ответственности давят на нас, требуют отказаться от нашей эгоистичности, честолюбия, чтобы служить делу предотвращения нового несчастья.

## Письмо тринадцатое

Был человек в Германии, пользовавшийся шумной известностью: Карл фон Осецкий, издатель газеты «Вельтбюне» («Сцена мира»). Эти небольшие красные брошюры, появлявшиеся каждую субботу, первоначально издавались Зигфридом Якобсоном, известным талантливым театральным критиком.

Мне посчастливилось познакомиться с Карлом фон Осецким в 1915 году. В ту пору мы оба были негодующими солдатами, носившими королевский мундир безо всякой гордости. За серьезной размеренностью Осецкого скрывался заряд иронии, раздражавший каждого милитариста и бюргера. Естественное его противление кровавой униформированной бюрократии было велико. Он знал ужасы и опасности игры с милитаризмом, который привел к первой катастрофе в Германии. Это он раскрыл нарушение Версальского мира германскими милитаристами. В его газете появлялись статьи о тайном вооружении Германии. Злочинства «Черных вооруженных сил Германии» — политические убийства по приговору тайного судилища впервые публиковались в «Вельтбюне».

Осецкий никогда ни к какой партии не принадлежал. Его ненависть к униформе распространялась и на любую партийную принадлежность. Его ошибочно называли коммунистом. Он до конца оставался неподкупным поборником полной демократии. В 1932 году Осецкий был осужден на длительное тюремное заключение.

Мы гордились им. Мы — это небольшое число избранных членов «Лиги прав человека», провожавшие героя борьбы за мир Осецкого в заключение — в тюрьму Плетцензее. Освободился он за несколько недель до прихода к власти Гитлера.

Мне довелось в те дни несколько раз с ним беседовать. Я говорил ему о том, как тяжело было бы жить в рейхе Гитлера.

Он лишь улыбнулся: «Глагола «эмигрировать» в моей лексике нет». И это была не пустая фраза. Он с

честью отстоял свой принцип и 27 февраля 1933 года отправился в концлагерь. Имя Осецкого почиталось всем цивилизованным миром. В нем жила настоящая честь и отвага Германии.

Он был не единственным немцем, пострадавшим за свои убеждения, но он был тем, кого нацисты больше всего ненавидели. Его противление коричневой чуме было противлением естественного человека против извращенности кровавого мещанства. Осецкий говорил мне, что любит свою родину Германию.

Он был величайшим патриотом этой страны. Но он не был националистом, в нем пылал критический дух. Он желал своей стране только самого лучшего. Помню, как он однажды в своей тихой саркастической манере выразился о своем сотруднике Курте Тухольском: «...Что Тухольский, собственно, еще знает о Германии? Он уже 10 лет живет в Париже, а через границу и браниться-то не всегда возможно».

В 1938 году заключенный концлагеря Карл фон Осецкий получил Нобелевскую премию мира.

Это был ответ цивилизованного мира позиции нацистских правителей. Хотя Осецкому Нобелевская премия вследствие обмана нацистов никогда не была выплачена, но борца за мир с тяжелыми заболеваниями сердца и легких пришлось перевести в больницу и оттуда отпустить на так называемую свободу, которой он мог пользоваться уже недолго. Вскоре он скончался.

Сегодня желателен второй Осецкий, с размахом и оптимизмом, независимый и решительный. В то время величие Осецкого было признано лишь теми людьми, которые его поняли. Деятели искусства

поняли его лучше политиков. Однако его влияние, которое он как узник Третьего рейха оказывал на ненацистский мир, было огромным. Его пример нашел последователей, и после его смерти его имя стало понятием. Когда республика в своих основах сотряслась и зашаталась, ни для кого не было неожиданностью, что это образование доброй, но слабой воли было нежизнеспособным. Но мы все были более зрителями, чем действующими лицами. Республиканские партии вели себя по отношению к так называемым «интеллектуалам» очень сдержанно. В них было гораздо больше мещанства, чем казалось. Нацистский трюк состоял в том, чтобы эту узколобость выдать за признак всяческого рода демократии. Несмотря на двенадцатилетнее существование демократии, о ее сущности знали мало. Несмотря на старания так называемых республиканских партий, немецкий обыватель все еще считал, что государством «кто-нибудь» должен распоряжаться.

В Германии плохо было понято то, что создала французская революция в 1789 году и американская революция в 1767 году — свободу мышления и действий, способность самим создать правительство. Промахи 1848-го и 1918 годов показали неспособность немцев к демократии, а их нежелание. Попытки, сделанные в 1918-1933 годах кончились в том варварском гитлеровском государстве, которое теперь рушится.

Я считаю, что мир недостаточно поддержал Германскую республику, и это частично было причиной ее развала. Однако в конечном счете всякий народ ответствен за ту форму правительства, которую он создает у себя. Вина других не умаляет собственной,

как никакой убийца не может оправдаться тем, что, кроме него, есть еще и другие преступники.

## Письмо четырнадцатое

В мае 1929 года я женился вторично. Первые месяцы мы путешествовали. Мы оба были материально независимы, моя писательская и журналистская деятельность позволяла мне это. Я отовсюду посылал свои статьи и сочинения в издательства и редакции. После того первого путешествия по Италии я совершенно перестал отображать свои идеи посредством живописи или рисования. Я чувствовал, что словом выражаюсь лучше и яснее. Я писал небольшие сочинения для ульштейнских газет, которые появлялись почти еженедельно.

Летом мы жили в Нормандии и Бретани, затем мы отправились в Париж, оттуда в Швейцарию, а потом в Италию, где я обычно проводил зиму. Моя внутренняя ситуация в то время была менее ясной, чем внешняя. Я часто чувствовал, как мало счастья приносит владение внешними вещами существования. Я имел все те удобные и красивые приятности, называвшиеся в общем «современной цивилизацией». Часто я вслушивался в себя и обнаруживал много вопросов, на которые не находил ответа.

Проблемы, беспокоившие меня с детства, я описал в романе о становлении личности героя, появившемся в 1931 году в Берлине в издательстве З. Фишера под названием «Кайзерветтер».

Доказательством того, что мой литературный успех доставался мне без больших трудов, было то, что я в Швейцарии, во «Франкфуртер цайтунг», случай-

но прочел мой перепечатанный роман. Я об этом ничего не знал. И когда я приехал в свою летнюю квартиру на Бодензее, я нашел запросы от четырех больших издательств Германии на право напечатать мой роман.

Я поехал в Берлин и заключил с З. Фишером генеральный договор об издании всех моих настоящих и будущих литературных произведений.

Осенью того же года я отправился в Грецию и Турцию. Это было незабываемое время, оставившее много впечатлений. После этой поездки я через Северную Африку вернулся в Южную Италию, чтобы написать второй том моего романа «Кайзерветтер». Впрочем, ему не суждено было увидеть свет, так как к моменту его окончания гитлеризм настолько уже овладел Германией, что Фишер не решился издать этот том.

До 1933 года мы жили в Германии. Станным образом, словно я предчувствовал окончательное расставание, я прожил в Германии именно самое трудное и политически опасное время. Люди того времени не хотели верить в приближающуюся беду.

Помню, что однажды вечером в сентябре 1933 года я слышал звон разбитых оконных стекол в кафе «Добрин», орущую толпу... Это кафе принадлежало евреям. Это было в те дни, когда 130 нацистских депутатов пошли к Рейхстагу и рейхсканцлеру Брюнингу не хватило сил сдержать нарастающий коричневый вал. Сегодня я часто спрашиваю себя, почему я в то время не оставил эту страну? Почему я не предпочел жить за границей Германии чистой мирной жизнью? Не знаю. Я понял лишь, что тогда никакие силы не могли разлучить меня с привычной

атмосферой. И я был не одинок. Многие мои друзья, придерживаясь тех же политических взглядов, оставались не столько для того, чтобы как-то противостоять нацистам, сколько чтобы выждать.

И перед каждым евреем стоял единственный вопрос: когда? Раздвоенность между еврейским национальным сознанием и чувством быть в Германии дома нарастала. Я знал многих, в ком в те годы вызревало национальное еврейское сознание. Их принадлежность к немецкому народу, с которым они были связаны более ста лет, становилась все сомнительнее. Им не оставалось другого выбора, кроме как внутренне вернуться к своим истокам. Размышляя сегодня об этом, я должен сказать, что у меня никогда не было недостатка в еврейском сознании. Но сделать из этого знамя или программу я не мог. В необходимости этого меня и Гитлер не смог убедить. Моя принадлежность к немецкому языку никогда не была прочнее, чем в те дни, когда меня лишали этого права по «расовым причинам». Но переживаемое тогда было лишь прелюдией грядущего.

В 1932 году политическая облачность сгущалась, но когда ты родился (19 мая), мне все было нипочем, кроме того, что был ты. Ты родился в утопающем мире, но когда он рухнул, ты был в безопасности.

В декабре 1932 года я жил под Берлином и пытался игнорировать время. Я тогда работал над небольшой книжкой «Феликс и Фелиция», которая должна была меня и моих читателей наводить на другие мысли. Этот безобидный роман появился в 1933 году под псевдонимом, так мой издатель чувствовал себя увереннее без авторов с еврейскими именами. Карлу Бётнеру, под именем которого я скрывался,

эта книга принесла большой успех. Несмотря на мою непопулярность в нацистской печати, в ней появились довольно доброжелательные отзывы о книжке. Однако это не помешало, с гордостью будь сказано, тому, что 10 мая 1933 года мой роман «Кайзерветтер» был сожжен в Берлине нацистами. Этот день был и концом моей писательской карьеры в Германии. Вопрос об эмиграции стал насущной необходимостью. Ряды моих друзей редели. Они исчезали за границей и в концлагерях.

Помню, как однажды вечером у моих дверей в Целендорфе был арестован мой друг Теодор Гаубах. Он долгие годы был заведующим отдела печати в Берлинском управлении полиции. Он всей душой ненавидел расизм, однако никогда не говорил о политике, а чаще всего о музыке и литературе. Видя, как к нему подошли двое мужчин и, взяв его под руки, отправились вниз по улице, я все понял. Перед моими глазами предстала сущность национал-социализма. Теодор Гаубах несколько лет провел в концлагере, затем был освобожден, но вследствие событий 20 июля 1944 года повешен.

Постепенно стало так невыносимо, что летом 1933 года я решил уехать в Данию. Это желание снова жить на свободе укрепило окончательно мое решение эмигрировать из Германии. Из путешествия я хотя и вернулся в Берлин, но лишь для того, чтобы в декабре переселиться в Швейцарию.

## Письмо пятнадцатое

Знаешь ли ты, дорогой мой мальчик, что значит эмигрировать? Нет, ты этого не знаешь, и, надеюсь,

тебе не придется этого пережить. Ты живешь в своей стране, в городе, который ты по праву можешь считать своим. Там все принадлежит тебе: улица, на которой ты играешь, квартира, в которой ты живешь, — все твое. Твоя комната, как небо и воздух, как и язык, на котором все говорят, как и ты сам.

Сохрани тебя Бог, чтобы ты этого никогда не лишился, чтобы все вокруг тебя и в тебе оставалось твоим.

Я всего этого лишился, когда мне пришлось оставить страну, в которой родился. Меня никто не изгнал, и все же я был изгнанником; никто не заставил меня уйти, и все же я ушел. Ибо все, что я считал моим, стало для меня недостижимым. Мои желания, мои мечты ограничивались, они умирали прежде, чем я мог из них сделать то, что означала для меня жизнь: мое искусство.

Страна начала признавать безумие. Страна снова начала гордиться тем, что сила выше права. И это была та страна, в которой я родился, которая в то время, по выражению одного американского писателя, «ставила свои часы назад». В Германии мне больше нечего было делать. Я предчувствовал, что, наверное, в последний раз вижу эту страну. Возвращение мне казалось невозможным.

Проезжая в тот декабрьский вечер вдоль Шварцвальда и глядя на темные леса, угасающее небо, мне почудилось журчание ручьев и звон колокольчиков стад. И вдруг меня охватила невыразимая боль. Это было ощущение забитости, незащитности, которое сильнее боли, сильнее тоски по родине, когда я понял свою телесную связь со страной моего рождения.

Это не сентиментальность, не сверхчувствительность, а словно второй раз оставляешь чрево матери, только совершенно сознательно, взрослым человеком. В этот момент я знал, что отторгнут, я чувствовал страх перед пустотой.

В Швейцарии я первым делом написал для выходящей в Праге «Вельтбюне» статью о положении искусств в Третьем рейхе. Помню, как я радовался появлению в печати моей первой антифашистской статьи. Это было прямо-таки наслаждением, когда я через несколько недель увидел слова и предложения, направленные против Третьего рейха, подписанные моим именем.

После напряженной и тревожной жизни в Третьем рейхе я за границей его свастики снова мог спокойно спать. Но не для того я эмигрировал. Я стал писать для швейцарских газет. Мы поселились в Люцерне. У нас там была хорошая квартира с видом на озеро. В несезонное время в Люцерне было тихо и скучно. Но была еще старая гостиница с рестораном «Дубели», где когда-то сживал Рихард Вагнер. В Люцерне выпускалась еженедельная газета, добрый редактор которой никогда серьезно не возражал против моих выступлений на его страницах. В то время я писал о театре, о книгах и о искусстве.

Однако однажды явилась достохвальная полиция по надзору за иностранцами и объяснила мне, хотя и на швейцарском диалекте, но вполне понятно, что я имею право лишь тратить деньги, а не получать доходы. После этого я, переговорив с редактором, решил печататься под псевдонимом.

Время моего проживания в Швейцарии было промежуточным периодом, которым я сознательно поль-

зовался. Я точно знал, что Европу мне придется оставить. Этого я боялся, особенно потому, что в Цюрихе у меня было достаточно друзей необходимого мне европейского духа. Цюрих в то время был настоящим центром изгнанного немецкого искусства.

Я снова встретил друзей, с которыми жил в Германии, слушал концерты Бруно Вальтера, познакомился с Артуром Шнабелем и видел много хороших представлений в цюрихском театре. Поэтесса Эльза Ласкер-Шюлер, как призрак, появлялась в кафе и пугала нас всех своим угрожающим духом (она умерла в Палестине). Я встретил моего старого школьного друга Эриха Каценштейна, доброго, умного человека, которому в 1920 году пришлось оставить Германию, потому что он дружил с Эрнстом Толлером. Из прошлого я встречал того или другого, но не видел будущего. Близость Германии чем-то беспокоила меня.

Немецкие эмигранты в Цюрихе были убежденными антифашистами. Но жили они какой-то призрачной жизнью ожидания, как бы в приемной врача.

Эти больные могли исцелиться лишь новым соединением с Германией. В те дни мне стало ясно, как тяжела ситуация эмигранта. Еще не было (как я позже видел) языкового барьера с окружением, еще они могли писать и думать на своем языке. Их терпели, но недолюбливали, и немногие могли это вынести.

Последние дни в Швейцарии я был в странном настроении. Слишком много хорошего я пережил в последние годы, чтобы легко расстаться с Европой.

Я знал, что эмиграция — это не поездка на курорт, а новое начало, и для него я чувствовал себя староватым. Я мог еще надеяться, но не было уже настоящей

веры в осуществление моих надежд. И это вообще было примечательно для эмиграции. Можно было мечтать и делать что-то для будущего, и все же прошлое влияло на человека больше, чем он это сознавал. Это прошлое было грузом, но оно содержало самое ценное, что у меня было. За границей приходилось расплачиваться, и мне часто казалось, что я торгую своими достоинствами. Необходимо было доказывать, что все эти вещи, бывшие частью жизни, ценности. Я немного боялся безуспешности моей эмиграции, и все же мне ничего другого не оставалось.

Германия лежала позади меня, проклятая и преследующая, в ней лишь смерть была надеждой, а жизнь проклятием.

Перед тем, как я оставил Швейцарию, я имел счастье слышать исполнение Второй симфонии Густава Малера под руководством Бруно Вальтера. Прочитав афишу, я решил пойти на концерт. Мне это показалось хорошей возможностью для прощания с Европой и с той Германией, в которой когда-то был счастлив.

И вот я сижу в концертном зале Цюриха и слушаю, как настраивается оркестр. Как я любил этот бурлящий шум, это звучащее рождение концертной музыки! Ну что ж, это и там, в Америке, можно слышать, и там можно наслаждаться концертами, как здесь. Однако я знал, что в тот вечер в последний раз услышу немецкую музыку в Европе. Появился Бруно Вальтер. Он показался мне сутуловатым и постаревшим, своей осанкой он словно выражал, что тоже чувствует себя беженцем. Конечно, он ездил по всей Европе, по всему миру, показывая свое великое искусство, но он всегда мог возвращаться на свою родину.

В тот раз он принадлежал к изгнанникам.

Мелодии того вечера звучали во мне до самого часа моего прощания с Европой.

Когда пароход «Вашингтон» выходил из порта Гавр, я впервые почувствовал любопытную радость. Люди на корабле, сам корабль — все было американское. Мое прощание с Европой было очень комфортабельным, так как я ехал первым классом. Стюард обслуживал меня по-особому. Он каждый вечер перед ужином раскладывал мой смокинг на кровати и ставил перед ней лакированные ботинки, всячески стараясь облегчить мою пассажирскую жизнь. В те семь дней между Европой и Америкой я чувствовал себя хорошо. Ничто не нарушало равномерного течения дня, даже поднявшаяся буря мне была нипочем, так как меня не укачивало.

Это была словно передышка на трудном пути эмиграции, который мне предстояло пройти до того, как приютит меня новая страна.

## Письмо шестнадцатое

Дорогой мой сын, то, что расскажу о первом моем впечатлении о Нью-Йорке, тебе, может быть, непонятным, потому что ты прибыл в этот город четырехлетним. Сейчас, перед новой встречей с Европой, мне ясно вспомнился тот первый день в Нью-Йорке. Лихорадочное возбуждение, с которым я ступил с корабля на пирс Нью-Йорка, длилось несколько дней. Помню, что все это казалось мне сном: небоскребы, узкие улицы, полные людей, все пестро одетые, весь этот акцент жизнеутверждающей жизни, захватывавший и больше не отпускавший человека.

С первого момента я почувствовал, что попал не только в новую страну, но и вступил на новый континент. Даже друзья, близкие мне еще в Европе, были другими, не такими, какими я их помнил. Они мне казались уже «американскими».

В тот майский день, когда я впервые шел по Пятой авеню, я чувствовал себя хотя и ничтожным и ничего не знающим, но уже вполне причастным. Вот та тайна, которую я открыл в Америке: здесь легко забываются все воспоминания о Европе, особенно в Нью-Йорке, потому что здесь словно находишь возрожденную Европу.

Все эти люди, называвшие себя американцами, были по происхождению итальянцами, французами, англичанами или русскими. Они сохранили свои национальные особенности, но проявляли их совершенно новым, американским, образом. Я быстро понял, что здесь действительно налицо была нация, сложившаяся из многих народов, которые не воевали между собой, а поддерживали свое общее государство. Это было самым счастливым открытием для меня. Позднее я узнал, как трудно приспособиться в Америке, ибо нет там «нормального» американца, к которому можно примериться.

В те годы для эмигранта из Европы было особенно трудно настроить на американский лад свою национальную особенность, унаследованное национальное прошлое, потому что я, эмигрировавший немец и еврей, в действительности был лишен почвы под ногами. Понятие «Германия» для меня всегда было незнакомым, я любил ее культуру, родной для меня немецкий язык, но не германский государственный порядок.

В Европе я был дома не только в Германии. Теперь же европейство стало широким понятием. Мне хочется уже сейчас затронуть эту проблему, которая позднее была причиной трудной внутренней борьбы. Расскажу тебе лишь, как я в первый вечер в Нью-Йорке с друзьями пошел в оперу «Метрополитен». Там шла опера «Кавалер роз» Рихарда Штрауса. Странное чувство овладело мной, когда я эту оперу здесь услышал на немецком языке. Чудные слова Гуго фон Гофманстала вместе с чарующей музыкой Штрауса были для меня чем-то вроде возвращения в прекрасную Германию. Не нужно быть сентиментальным, чтобы прийти в восторг от этих благоухающе звучащих проявлений любви. Маршаллин (Лотта Леманн), Окс фон Лерхенау (Эмануэль Лист) были для меня возрожденными образами из прошлых лет. У пюпитра стоял кузен моего отца Артур Боданцкий, много лет бывший музыкальным руководителем немецкой оперы «Метрополитен» в Германии.

Так я в тот вечер снова возвратился в любимый мною мир языка и искусства. Было не так, как в Швейцарии, где немецкоязычные нации разделяла лишь политическая граница. Я не смел сказать это вслух, потому что друзья мои не любили, когда напоминали им об их немецком прошлом. В то время я жил в отеле на Сорок пятой улице, на 12-м этаже, в небольшой комнате с телефоном, ванной и радио. Эти внешние признаки американской цивилизации радовали меня чрезвычайно, так как по радио я мог слушать прекраснейшую классическую европейскую музыку, и когда начал понимать язык, я стал постигать и умные речи комментаторов. Любопытство — одно из свойств, в котором люди редко сознаются. Я

обнаружил, что это свойство господствует в моей жизни. Это выражение жажды жизни, дающей мне способность переносить самое трудное. Это любопытство помогло мне вынести все, и когда оно угасло во мне, я сбился с правильного пути.

Но не об этом я сейчас хочу говорить, так как внешние обстоятельства первого года в Америке были решающими. Я наслаждался всеми прелестями Нью-Йорка, живя несколько беззаботно, иногда опасливо ставя себе вопрос: чем это кончится? Голова у меня была полна писательских замыслов, которые оказывались теперь однако слишком европейскими. С помощью моего друга Вильяма Дитерле, хорошего режиссера Голливуда, я попытался проникнуть в область «кинурукописи». Но безуспешно. Случайно я познакомился с издателем социал-демократической газеты «Нойе фольксцайтунг» Герхардом Зегером, который меня сразу принял на должность критика по вопросам кино и театра.

То, что я снова мог заняться журналистикой на немецком языке, было для меня большим удовлетворением. Я стал посещать все премьеры кино и театров, писал беззаботные статьи и чувствовал себя занятым. Конечно, познакомившись с читательской публикой этой газеты, я понял неуместность моего стремления до совершенства шлифовать каждое немецкое предложение.

Читатели нашей газеты, существовавшей с 1878 года, не обращали никакого внимания на ее литературный уровень. Забавно было слышать, что моя предшественница последние свои годы жизни провела парализованной в постели и свою критику переписывала из американских газет. И публика была

довольна. Один из старших редакторов удивлялся: «Что? Вы сами ходите в кино? Право же, в этом нет необходимости!»

Этот трагикомический случай я упоминаю лишь для того, чтобы показать, как мало ценился литературный труд в немецкой печати Америки. Эти люди жили уже по 30-50 лет в Америке, а духовно были больше под влиянием Рудольфа Пресбера, чем Томаса Манна.

Сам Герхард Зегер был смелым антифашистом, бежавшим в 1934 году из концлагеря Ораниенбург и произведшим своей книгой «Ораниенбург», в которой разоблачил злодеяния в концлагере, большую сенсацию. Сегодня преступления нацистов общеизвестны, в то время их считали выдуманными сказками ужасов. Хочу еще сказать, что его молодая жена с трехмесячной дочерью были помещены нацистами в концлагерь, где они находились, пока депутаты английского парламента не доставили ее самолетом в Лондон. Я горжусь тем, что Герхард Зегер мой друг.

Сотрудничество с социал-демократической газетой не доставляло мне внутреннего удовлетворения, тем более, что мои материальные доходы от этого были очень скромны. Я начал работать над романом под заглавием «Вчера и завтра», в котором пытался описать жизнь молодого эмигранта в Нью-Йорке. Не найдя американского издателя для этой книги, я печатал ее частями в нашей газете. Писал я и небольшие рассказы, антинацистские инсценировки, выступал по радио, оплачивая при этом хороших и посредственных переводчиков.

Но всего этого для жизни было недостаточно.

## Письмо семнадцатое

В то время в США было еще сравнительно мало эмигрантов. Хотя и образовалось объединение немецких писателей по образцу прежнего «Объединения защиты немецких писателей», но невозможно было собрать профессиональных писателей для правления. Председателем объединения, которое должно было набрать 150 членов, стал врач. Я регулярно посещал собрания, но, кроме радикального антинацистского настроения, там ничего положительного не было. Членство в союзе писателей приносило так же мало удовлетворения, как в союзе эмигрантов, названном «Немецко-еврейским клубом».

Там я с большим успехом прочитал доклад «Гейне и эмиграция», но удовлетворения от этого не получил. Во время чтения рукописи я вдруг почувствовал всю безнадежность немецко-еврейской эмиграции, ее привязанность к прошлому. Жили воспоминаниями, и будущее называлось одним словом «Америкой», под которым каждый представлял себе что-то свое. Одни мечтали о восстановлении прежних позиций, другие видели спасение в ассимиляции.

Меня потрясло, что все эмигранты поддались чувству страха и бегства. Страх от вчерашнего, от которого удалось бежать, бегство в будущее, о котором можно было лишь догадываться, а настоящего не было.

Рассказать тебе, мой сын, о прелестях и отвратительности этого большого города Нью-Йорк? Ты их знаешь, но не ведаешь, как чувствовал себя 42-летний европеец, блуждавший по чужбине, которая должна была стать его родиной.

Я был очарован этим громадным городом и странной Америкой, ее людьми и устройством мелочей, ее легким образом жизни, над которым не висели ни тяжести прошлого, ни страх перед будущим. Мы были такими бессильными перед этой жизненной энергией, нам не помогали никакие старания стать «американскими», и мы оставались такими, какими были. Иногда над нами чуть посмеивались, иногда удивлялись, так как мы в своем старании приспособиться, наверное, казались немного смешными.

Никогда не забуду благодарности, которая меня в зрелом возрасте приблизила к неевропейскому образу жизни. Несмотря на множество неприятностей, временами переживаемых мною, я знакомился с новым, молодым и неукротимым характером народа. Евреи в Америке, даже по возрасту своему равные европейским, были совершенно другими, чем их европейские братья по вере, другими настолько, что невозможно было поверить даже в расовое тождество.

Немецко-еврейский эмигрант имел больше немецких свойств, чем он хотел, а американский еврей, чаще всего потомок восточных евреев, был гораздо более еврейским по языку и внешности, чем еврей из Германии. Здесь сентиментальность бесполезна, нужно видеть факты: американский еврей, если он не полностью американизирован, говорит на идиш; ему трудно понять, что бежавший из Германии еврей своим родным языком считает немецкий и не понимает идиш. Только в эмиграции я понял, что еврей приспособлен к окружающему миру, который может быть немецким, французским, английским. Он, собственно, лишь по вероиспове-

данию еврей. Но так как еврейская религиозность в европейских странах в значительной мере исчезла, то еврею-эмигранту из Германии для того, чтобы понять вообще что-нибудь о своем еврействе, приходилось становиться расовым евреем. Тогда я понял то, что знаю сегодня: евреи бежали из Европы не для того, чтобы найти Бога. Они пришли в Америку и старались побыстрее американизироваться не для того, чтобы объединиться как еврейская нация. Они были вне американо-еврейского (идиш) общества, что обуславливалось как языком, так и верой. Они не могли проникнуть в американское общество, потому что оно больше отвергало евреев, чем это когда-либо бывало в Европе. Америка не была, конечно, антиеврейским государством, но разделение между евреями и неевреями было общественно непреодолимо.

Политическая жизнь в Европе очень отличалась от того, что под ней понимали в Европе. Европейцу трудно понять, что республиканец, противник Рузвельта, имел на то веские демократические основания. Вовсе неверно, что демократы занимают левую позицию, а республиканцы — правую. Обе партии сменяют друг друга в правительстве. И если после 12-летнего президентства одного и того же человека, как это было с Рузвельтом, оппозиция резко начинает выступать против президента, то надо понять, что сами оппоненты великого демократа Рузвельта — демократы. В слишком продолжительном президентстве одного лица кроется возможность установления диктатуры. Американец склонен видеть в этом опасность для конституции.

Разумеется, большинство европейцев за прези-

дента Рузвельта. Но они были свидетелями того, что этому четырежды избранному президенту противоборствовали 90% представителей печати, в то время как почти 60% американцев были за него.

Величие Франклина Рузвельта в истории Америки лишь позднее будет по достоинству оценено, хотя это было редкостное зрелище, когда Рузвельта чествовали как великого государственного деятеля, одновременно борясь против его избрания, так как оно было бы противоконституционно.

До войны 1941 года в Америке давалось поразительное множество духовных и художественных представлений. Известный как «денежный» человек американец показал, что он понимал истинную ценность существования. Хотя не следует забывать, что в Америке тогда наличествовали лишь начала художественного движения. Традиции искусства были заимствованы у Европы. В Америке их нет. В те годы некоторые театры начали предпринимать художественные эксперименты, выдерживавшие сравнение с Европой. Театры, поддерживаемые государством, действительно были местом для небуржуазного молодого искусства. Фотомонтаж кинокартины и проецированные декорации вместе создавали настоящее произведение сценического искусства. Такие постановки, как «Одна треть нации» или одноактная пьеса «Эжен О'Нейл», или негритянские постановки с цветными актерами в театре Лафайета действительно были чем-то выдающимся. Эти театры были частью программы для безработных, которая в 1938 году (вследствие недостаточной поддержки со стороны конгресса), к сожалению, распалась. Вечера в этих театрах в моих глазах были подтверждением

того, что Америка была на пути к тому, чтобы взять у Европы лучшее в художественном отношении и умножить. Припомним, что мы все были одержимы той европейской заносчивостью, побуждавшей нас верить, что художественный прогресс неотделим от понятия «Европа». Вместе с концертами Нью-Йоркской филармонии или лучших смычковых квартетов эти театры способствовали устранению европейской заносчивости. Я тогда понял и сегодня думаю так же, что Америка без труда превзойдет Европу, что вся эта болтовня о поверхностности американцев не что иное, как заносчивость и глупость. Когда я как кинокритик понял, что есть американские фильмы, полные душевной глубины и технического совершенства, что киноактриса Бетти Девис действительно жила в фильме, мне стало ясно, что надо только хотеть увидеть прекрасное и истинное.

В фильмах Чарли Чаплина Америка во времена, когда молилась на удачников, в неуклюжем Шлемиле Чаплине создала образ, которому преклонился весь мир. В этих фильмах безуспешность стала поводом к сатире, полной шутовности, иронии и глубочайшего значения. Все это и еще больше было Америкой. Это был новый континент, дававший переселенцам уникальную возможность развиваться. Этот еврей из Англии — Чарли Чаплин, этот гениальный и чудаковатый актер в Европе, может быть, стал бы местной знаменитостью. Здесь же, в Америке, он стал всемирно известным. Отчего это?

От неимоверной способности этой уникальной страны к поклонению. Оно обнимает иммигранта почти смертельной хваткой и может его сломать, но

достаточно сильный выйдет из этих объятий еще более сильным. Мне стало ясно: всякая половинчатость, всякое самосострадание, всякие традиции не имеют здесь будущего и уничтожаются.

Европеец Чаплин превратил здесь лучшее свое европейство во что-то такое, что было больше всякой национальной особенности. Америка понимала его, и вместе с ней его понимал и весь мир. Это простое предложение ясно каждому, кто понял атмосферу этой чудной и безжалостной страны.

Где стояли мы, когда, разочарованные Европой и полные надежд, прибыли в Новый Свет? Нужно было заново проявить себя, так как все традиции и преимущества прошлой славы ничего уже не стоили. Началось самое трудное время моей жизни, и, так как я преодолел те трудности, я считаю его и самым прекрасным. Невзирая на все унижения и разочарования, я все же смог определить то неразрушимое, что имелось во мне. И это, собственно, главное в моей жизни: оторвавшись от всех традиций, самому начать новую жизнь. Я уже раз сказал, когда из Германии приехал в Швейцарию: «Эмиграция неминуема». Но эмиграция не преобразовала людей, она изменяла лишь условия жизни, а не душу. В сущности это был бег к цели, лежавшей далеко впереди. Достижение ее для большинства означало не больше, чем хорошее положение и богатую жизнь.

Для меня борьба против фашизма была гораздо важнее, чем достижение личных удобств. С такими взглядами я находился в лучшем положении, но с сожалением замечал, что немецкая болезнь партийной разобщенности в эмиграции процветала дальше.

В то время я с удивлением заметил разницу между

американским и немецким образом мышления. Если американец, в соответствии с англосаксонской традицией, уважал взгляд другого, то немец считал приверженца другой партии врагом.

В ту пору я часто вслушивался в себя, чтобы узнать свои собственные желания и чаяния. Но я ничего не слышал, я запутался в прошлом и был очень нетерпелив, чтобы завладеть будущим. Незвестная величина называлась «сегодня». Но к чему говорить о взлетах и падениях моего внешнего существования? Иногда надо иметь смелость, чтобы попросту сказать: в то время я искал самого себя.

Одним из тех немногочисленных эмигрантов, всегда сознательно шедших своим путем, беспристрастно рассуждавших обо всех вещах, сильный и важный голос которых теперь был слышен и в Америке, всеми почитаемых, а нами, эмигрантами, любимых, был Томас Манн.

Этот немецкий писатель приехал в США, и его появление среди нас было знаком утешения. Его книга «О грядущей победе демократии» только что появилась и вводила в заблуждение сомневающихся, так как Томас Манн излагал в ней доводы, что демократия — форма человеческого будущего. Я знал писателя лишь по нашей с ним переписке, а увидел впервые у пирса в Нью-Йорке, когда он прибыл из Европы. По виду его можно было принять за правительственного чиновника или профессора. Но в его голосе звучала та ирония, которую мы так любим в его книгах.

В тот же вечер я слушал Томаса Манна в Хантерс-колледже — он говорил о создании романа «Иосиф и его братья». Я был свидетелем редкостного, необыч-

ного представления, как этот мастер немецкого языка делал доклад на английском языке, который по стилю можно было назвать Томас-Манновским. Интенсивность его мыслей, многоцветье его образов были так велики, что язык полностью подчинялся законам говорившего.

## Письмо восемнадцатое

Для нас Томас Манн — не только автор бессмертных романов, он одновременно утешение и ободрение. Его личность с его образцовой ответственностью и верностью немецкому языку стала для нас примером, достойным подражания. Моральное достоинство этого явления поднимает значение его творчества до истинного величия.

Но не каждому было суждено своим трудом зарабатывать деньги. Не всякий мог оставаться в атмосфере своего искусства и языка. Необходимо было «перестроиться». Моя уверенность в том, что писательский труд можно перевести, была заблуждением. Это едва ли возможно. Типичные для Европы или Германии вещи невозможно пересадить в другой языковой мир.

Эту невозможность я понял после перевода некоторых моих работ. Язык — это больше, чем звукообразование. Он — выражение суммы всего опыта, собранного не только самим человеком, но и его предками. Музыку языка невозможно перевести. Красочность устного слова при переводе превращается в скучную черно-белую технику. Немецкий философ-богослов Теодор Хеккер писал: «Настоящему языковому творчеству необходима ночь неосознан-

ности и лоно родного языка. Оно не растет ни при искусственном освещении, ни даже при самой напряженной осознанности виртуозной заученности языка». Такова была ситуация немецких поэтов и писателей в Америке.

Публика, те, для кого мы писали, была в эмиграции или находилась в концлагерях. Наше слово достигало лишь очень немногих. Так что функция немецкого писателя лишилась своего назначения.

Между тем возникла необходимость найти материальное содержание. Переход от свободного писателя к человеку, занятому полезной деятельностью, был труден. Никто не хотел рискнуть взять меня в какое-либо торговое предприятие. И я с этим был согласен, потому что менее всего был способен к торговой деятельности. Я объехал северные штаты Америки и видел немало прекрасных мест. На острове Блок-Исланд, который в двух часах езды паромом от берега, я прожил два лета в небольшом деревянном домике. Он напоминает Хильдензее, если вообще можно привести европейское сравнение, лишь с той разницей, что Блок-Исланд не был перенаселен известными художниками и что на нем отдыхали граждане Провиденса и Бостона. В гавани небольшого острова стояли чудные яхты, моторные лодки, всюду сновали рыбаки, одним словом — на вечерней прогулке наблюдалась живая картина. Днем люди делали то, что делают на всех морских курортах, — купались. Не забуду дешевизну и вкус омаров, которые там ел каждый день. А когда я с рыбаками выехал в море, где они гарпунами били рыбу-меч, я почувствовал себя очень отдаленным от времени и пространства.

Мировые события через мое маленькое радио становились призрачно близкими. После приятного доброго голоса президента Рузвельта к нам через океан доходил и голос вожака нацистов Гитлера. Становилось жутко от неизбежности мировой катастрофы. Между тем я пытался писать книгу и другие сочинения, но они остались лишь начатыми. Важность тем стала сомнительной, а сам я еще не имел достаточно мужества, чтобы написать что-нибудь об Америке. Ибо чем дольше я там находился, тем яснее мне становилось, что нужно очень много, чтобы передать атмосферу и язык страны. Даже знакомые города я видел лишь глазами чужого наблюдателя.

Я слишком привязан был к Европе, и мне мало везло в достижении каких-либо материальных успехов. Вопрос: «Зачем мы, собственно, эмигрировали?» — все больше превращался в озабоченность: «Что с нами будет?» Ибо когда-то мы были жертвами, а теперь становились зрителями. С ужасающей ясностью я понял пассивность нашего существования. Мои еженедельные сочинения, публикуемые в «Фольксцайтунг» под рубрикой «Это касается нас», для меня в определенном отношении были душевной разгрузкой. Я знал, что нужно бороться, а в действительности делал лишь комментарии к мировой трагедии.

В то время к концу подходила гражданская война в Испании, многие оставляли Америку, чтобы бороться на стороне республиканцев. Мы все проявляли большой интерес к этой войне, которая, собственно, была первым актом второй мировой войны. Гражданская война в Испании занимала тех, кто, как и мы, был заинтересован в европейской полити-

ке. Но не только мы были захвачены борьбой в защиту Испанской республики, но и молодые американцы были очень активны. Такие журналы, как «Републик», были полны сообщений и противоположных мнений об испанском вопросе.

В то время я написал пьесу «Мы все за одно», поставленную потом в Нью-Йорке, в «Йорквилль-казино». Актерами были любители из рабочих кругов, очень активные и воодушевленные люди. Каждый раз при постановке, когда зал наполнялся людьми, которые были заинтересованы делом демократии, нас наполняло возвышенное чувство.

Единство в наших устремлениях за свободную Испанию, достигнутое нами в Нью-Йорке, было тем успехом, который нас всех удовлетворял. Усилия по организации помощи Испании, несмотря на добрую волю, были недостаточны. Известно, что, несмотря на героическое сопротивление, позднее Испанская республика потерпела поражение.

Своей деятельностью в социал-демократической народной газете я усиленно стремился к тому, чтобы хотя бы в кругах работников искусства обеспечить сотрудничество коммунистов с социал-демократами. К сожалению, это становилось все труднее.

Хотя я принадлежал к редакционному штабу газеты, мир этого издания был не моим миром. Желания и взгляды тех бесстрашных борцов против фашизма были хороши, и я полностью разделял их, но какое-то неудовлетворение во мне оставалось. Позднее я понял: то, что мне тогда недоставало, было очень важным, решающим.

Для заполнения этого пробела я попробовал заставить себя вернуться к еврейской религиозности.

Сознаюсь, что я честно старался, пытаюсь внутренне вернуться во времена моего детства, когда еврейское благочестие было составной частью моей обыденной жизни. Я пытался посещать богослужения в синагоге, но когда в самый большой еврейский праздник — День примирения — наблюдал, как перед синагогой остановился бронированный автомобиль, чтобы обеспечить доставку в банк пожертвованных денег, я не чувствовал духа моего прадеда Самсона Рафаэля Гирша. Было, конечно, много евреев, которые чувствовали себя очень счастливо и уверенно в детской вере своих отцов, но я в этих запретах и законах не мог усмотреть никакой необходимости и ничего спасающего.

Кем я был?

Я был писателем, оторванным от родины, для которого немецкий язык был формой выражения, старавшийся вписаться в английский языковой мир, но не видевший никакого осуществления своих желаний. Друзья мои почти все были из Европы. С ними я обменивался воспоминаниями, окунавшими нас в прошлое, настоящим мы занимались очень мало. Во всем, что сводило людей в эмиграции, было немного тоски и скуки.

Мало было таких, с которыми я чувствовал себя внутренне связанным. Это в основном была связь из прошлых дней, частично проведенных вместе. Люди, с которыми мы жили в настоящем, были так заняты собой, так втиснуты в ежедневные труды и заботы о добывании хлеба насущного, что для внутренней связи не было времени. Сегодня я понимаю, что люди в эмиграции очень бережливо должны относиться к своим душевным благам, не разбрасы-

ваться ими. Однако каждая настоящая любовь характеризуется избытком чувств, недостаток их — ее смерть.

## Письмо девятнадцатое

Ощущение спасения очень приятно для потерпевшего кораблекрушение. Это состояние хорошего самочувствия, радости и благодарности судьбе, спасшей из когтей несчастья. Но эти ощущения невозможно консервировать. Опасности быстро забываются, будни безопасного существования быстро захватывают спасенного. Вчера еще под слежкой и угрозами, вчера еще в постоянной опасности, а сегодня в безопасности. Это состояние нередко создает определенное замешательство, к которому трудно привыкнуть. А жили мы все же лишь в кажущейся беззаботности, ибо события в Европе набирали ход, и если они нас лично не могли касаться, то их влияние тем не менее чувствовалось сильно. Для эмигрантов решение европейских неурядиц имело большее значение, чем для американцев. Наступили те сентябрьские дни 1938 года, когда мир с изумлением видел, как какому-то Гитлеру удается навязать свою волю. Мюнхенская конференция решила не только судьбу Чехии, но и лишила всех противников Гитлера надежды на то, что цивилизованный мир окажет серьезное сопротивление гитлеровскому режиму. Почти невозможно было убедить неевропейцев в том, что угрожающий конфликт с Гитлером лишь отодвинут, но никоим образом не решен. В те дни бывший летчик Чарльз Линдберг начал провозглашать непобедимость германских воздушных сил

и беспомощность русских армий. Он нашел широкую поддержку, особенно в кругах того германо-американского союза, который был не чем иным, как объединением нацистов в Америке. Для нас, прибывших из Европы, ужасно было видеть собиравшиеся в «Медисон сквер гарден» униформированные орды со звездными знаменами и свастиками и слышать столь знакомые возгласы: «Хайль!» Но опытные американцы смеялись над нашими опасениями: «Подобное у нас невозможно, это лишь военная игра».

Беспокойство, охватившее весь мир, в 1939 году охватило и Соединенные Штаты. Президент Рузвельт первым осмелился признать это. Он без прикрас обличил фашизм как нарушителя спокойствия мира.

Наступил какой-то промежуточный период. Мы, жертвы фашизма, изгнанные и лишенные гражданства, болезненно ощущали временность нашего состояния. Мы все очень старались вжиться в молодой, более сильный американский мир. Но это удавалось лишь молодым. Люди старше сорока слишком срослись со всем европейским, чтобы добровольно расстаться со своим прошлым. Все они находились в определенной изоляции, ибо были достаточно опытны, чтобы предвидеть ужасные последствия так называемой «политики умиротворения», которую остальной мир пытался провести.

Среди политических эмигрантов отношение к европейским вопросам было яснее, чем в кругах евреев-эмигрантов, изгнанных большей частью лишь по «расистским» причинам. Их позиция была гораздо сложнее, так как они принадлежали к различным

политическим направлениям. Еврейство было, собственно, чем-то отрицательным, так как они были против Гитлера именно как евреи, в то время как политические беженцы в основном противоборствовали фашизму.

В это время я получил гражданство Соединенных Штатов. Это был торжественный момент. Несколько сот человек, чужестранцев, как и я, стояли в зале натурализационного бюро, подняв правую руку и повторяя за судьей слова присяги.

Мало кто из нас не понял всего значения этого момента. Дело было не только в том, что великая страна предоставляла родину изгнанникам, а гораздо важнее было то, что они становились свободными демократическими гражданами великой республики.

Первое требование судьи к новым гражданам касалось выборов. Он сказал: «Мне все равно, какую партию вы выберете, но вы обязаны пользоваться избирательным правом. Я надеюсь на этот ваш интерес к вашей новой родине, ибо вы сами знаете, почему в Европе разрушилось столько демократий. Виной тому — незаинтересованность и безразличие».

Этим торжественным актом мы приняли не только свободу, но и ответственность. И это было главное: чувствовать себя ответственным, быть самому ответственным, а не по каким-то причинам, связанным с личными удобствами, возложить ответственность на соседа, как было в Европе. В Германии, например, в последние годы говорили: «Все равно бесполезно».

Именно такая позиция облегчила путь Гитлеру, и мы, новые американские граждане, были полны

решимости никогда не забывать о своей ответственности.

## Письмо двадцатое

В моей жизни на переднем плане было всегда мое «я», и от этого страдал как я, так и окружающие меня. Но как это изменить, я не знал. Сегодня я догадываюсь. Ты, сын мой, может быть, видишь меня иным. Может быть, ты знаешь обо мне больше, чем я сам о себе. Часто случается, что находящиеся рядом видят меньше, чем стоящие вдаль.

В предвоенные годы я стремился к лучшему устройству моего внешнего существования, ибо мои заработки были очень малы. Ты знаешь, как важно в Америке — зарабатывать человек что-нибудь или не зарабатывает. Важно это везде, но нигде незарабатывающий не чувствует такой моральной вины, как здесь, в США. Ты тогда был еще маленьким, но, наверное, больше замечал в моем неустройстве, чем я подозревал. Часто я приходил за тобой в школу и старался не разрушать твое веселое детское настроение. Как это мне удавалось, не знаю. Все твое время было занято играми и всеми теми малыми заботами, которые были так важны. Помню, что в центре твоего существования стояла тогда твоя мать. Сознаю это без ревности, ибо моя жизнь была какой-то непроглядной, туманной. Ты ее видеть не мог.

Лишь благодаря матери твоей ты рос таким здоровым, я был слишком занят неразрешимым вопросом нашего существования.

Одиночество в моей безуспешной жизни было неожиданным явлением для меня. Лишь тот может

почувствовать сполна тяжесть изгнания, кто знает, что значит жить на чужбине. Чтобы укрепить основы моего материального существования, я пытался выступать по радио, делать доклады о театре и кино. Я познал жестокость ожидания и унижения в приемных. Вежливость отказов я ощущал, как острие ножа. Лучше было бы иногда услышать грубое «нет!» вместо вежливого «возможно...» И мне пришлось понять, что как художественно чувствительный человек, я, немецкий писатель, не мог иметь успех в материальном отношении.

Так я для тебя, мой сын, был человеком безработным. Помню, ты часто спрашивал: «Ты получил то место?»

Великий поэт Франц Верфель говорит в одном стихотворении: «Ложь нас тепло укрывает». Ложь в то время была моим осознанным оружием для спасения нескольких беззаботных часов. Наверное, я тогда был на самой глубине моего жизненного падения, когда вполне сознательно стал лжецом. Я не знал другого выхода. Я раздувал возможности успеха до того, что сам верил в них.

В то время я снова встретился с другом, с которым мы когда-то жили вместе в Швейцарии. Он был родом из Баварии и сбежал из Третьего рейха, так как по своим религиозным взглядам не мог жить под диктатурой. Он происходил из старинной немецкой офицерской семьи. Отец его был прусским генералом, брат его служил где-то в германской армии. По профессии он был музыкантом, но занимался больше писательским, чем композиторским, трудом. Я его знал еще в Германии, но в Швейцарии, в Цюрихе, мы сошлись поближе. Когда он приехал в Амери-

ку, с ним были манускрипты нескольких книг об истории церкви и древних святых. Его исповедание католицизма было не только результатом долголетней традиции, но, как он мне говорил, он свое уверование действительно пережил.

Я сидел с ним в его номере в небольшом отеле на Пятой авеню. Он начал говорить со мной о моем отношении к религии. Невзирая на весь мой жизненный опыт, унижения и разочарования, я был тверд в одном: я не верил в существование Бога. Не то, чтобы я просто из марксистских убеждений не верил, нет, я был твердо убежден, что Бог — лишь конструкция, выдуманная несколькими людьми для того, чтобы не нужно было объяснять необъяснимое.

Я сказал своему другу: «Если бы Бог был и если бы Он действительно способствовал утверждению добра и истины на земле, тогда зло не господствовало бы».

Он ответил: «Для тебя зло вообще не должно бы существовать, так как ты не признаешь ни добра, ни зла. Зло и не господствует, оно лишь сильно, потому что добрые слишком слабы».

Дискуссия о Боге длилась много часов. Я в то время был убежденным атеистом, и неверия моего никто не мог разрушить. Мой друг старался оставаться спокойным, но иногда ему это едва удавалось, так как я считал себя правым.

Эта беседа привела лишь к тому, что я чаще стал задумываться над вопросами веры. Не то, чтобы пошатнулось мое убеждение, но я просто искал новое подтверждение моему воззрению. Внешне моя жизнь в то время была очень трудной. Не знаю, дорогой мой сын, доходило ли тогда до твоего сознания, какие трудности я переживал. Я видел тебя ред-

ко. Когда я уходил, ты был в школе, а когда я возвращался домой, ты уже спал. Я знал, что писательским трудом не мог обеспечить нашего существования, но я не хотел в это верить до тех пор, пока однажды не решился пойти маляром на текстильную фабрику.

Утром в шесть я на метро поехал в Бруклин и пошел на фабрику, владелец которой, восточно-европейский еврей, как казалось, мне сочувствовал. Когда я заговорил с ним, он сказал: «Вы же художник, а не рабочий, это же заметно». Яростно пытался я убедить и других, и владельца, и наконец себя самого в том, что я действительно не художник. Из реек я сбивал рамы, на которые натягивал полотно, которое покрывал затем клеем. Такой навык у меня был. Теперь я ежедневно должен был изготавливать 60-70 рам и покрывать их. Я успевал делать лишь 28. Остальные делал за меня рабочий-итальянец, которому я за это покупал вино. Нелегко было среди этих мелких мещан делать вид, что я один из них. На предприятии говорили в основном на идиш и по-итальянски. В любой другой стране сочувствовали бы интеллигентному человеку, вынужденному идти рабочим на фабрику. Но не в Америке, там никто не спрашивал другого, чем он зарабатывает деньги.

То, что я еще был литературным издателем рабочей газеты и что имя мое стояло в Энциклопедии искусств, в материальном отношении мне ничего не давало.

В Америке профессиональное занятие искусством оправдывалось лишь в том случае, если оно было успешным. Мой натиск на американскую журналистику не удался. Меня, немецкого писателя, с английским окружающим миром разделял языко-

вой барьер. Если сосчитать известных писателей-неамериканцев, которым удалось завоевать американскую читательскую публику, то, верно, наберется не более полдесятка. Все остальные живут вдали от искусства и рады трудиться в торговле или делать другую полезную работу.

В начинающей расширяться военной промышленности не так трудно было устроиться на работу. Хотя и не с помощью войны, Америка как «арсенал демократии» была на успешном пути избавления от безработицы именно этим образом. Исчезала разница в возрасте: и пожилой, и молодой могли найти работу. Ищущего работу спрашивали не: «Чем ты занимался?», а «Что ты умеешь делать?»

Моя деятельность на фабрике была не чем иным, как вынужденным добыванием хлеба насущного, которое однажды внезапно было прервано, когда владелец узнал о моей низкой производительности. В следующие месяцы я занимался тем, что у одного знакомого врача открывал дверь приходящим пациентам. Практика этого врача, моего доброго друга, была в Йорквиле, на Восемьдесят седьмой улице. Это был совершенно немецкий квартал, пациенты были одни немцы, но не нацисты, а социал-демократы. За эту деятельность я получал три доллара и ужин, обычно в ресторане «К Гейдельбергеру». Этот врач был одним из тех, к которым я был очень привязан, так как он был для меня частью Европы. У этих эмигрантов было много общего с моим прошлым, однако мы понимали, что в настоящей жизни мало чем могли помочь друг другу.

Для моего тогдашнего состояния было характерно говорить лишь о прошлом, будущее давало очень сла-

бую надежду, а настоящее меня совсем не интересовало. Сейчас я вспоминаю то время, как сон лунатика, как выражение моего внутреннего и внешнего разлада. Встречались люди, которые с кем-то были знакомы, которые могли быть полезны, использовались отношения, оказывавшиеся бесполезными, люди бегали с места на место, говорили по телефону, строили планы, которые не осуществлялись, жили, дышали и ели только хлеб насущный.

Часы, которые я, будучи театральным и кинокритиком, мог провести в созерцании прекрасного, были моментами отдыха в моем изнурительном существовании. Хуже всего было то, что я не видел выхода.

## Письмо двадцать первое

В январе 1940 года я вдруг заболел воспалением легких, но моему врачу удалось быстро вылечить меня при помощи нового в то время сульфатного препарата. Однако это был словно первый предупредительный выстрел, который повторился в 1944 году. Первое предупреждение меня едва пробудило.

Болезнь моя была не чем иным, как слабостью в решении стоящих передо мной задач, которые составляли не только мое внешнее существование. Я очень искусно и убедительно обманывал самого себя. Сегодня я все вижу яснее, чем тогда. Уже в то время я мог принять решение, которое вынужден был принять через два года. Но я ничего не делал. Словно парализованный, я пользовался периодом выздоровления для собственного ограждения. И все же в то время со мной что-то произошло.

Внешне моя жизнь несколько улучшилась, так как я устроился на работу в один исследовательский институт. Я должен был брать интервью по определенным вопросам у немецкой части населения Нью-Йорка. Таким образом я соприкасался с различными людьми. Мои, на первый взгляд, легкие вопросы заставляли людей высказывать их политические взгляды. И так как в Америке у каждого было твердое политическое мнение и сознание права высказывать его, эти интервью выявляли много скрытного. Та свобода мышления и высказывания была так демократична, что прежний европеец, познавший диктатуру, изумлялся.

Начало войны повлияло на всю американскую жизнь. Хотя каждый американец против войны, мирная экономика немедленно была переведена на военные рельсы, о необходимости чего говорили, не таясь. В этом было отличие от Германии: каждый выполнял свой долг, чтобы бороться против врагов демократии, но никто этому не радовался, не ликовал, не отмечал начало мировой бойни народов как национальный праздник. Это на нас, европейцев, производило глубокое впечатление.

Для большинства эмигрантов из Германии начало войны, и особенно объявление войны Америке, означало подтверждение их опасений, высказанных вслух. До 7 декабря 1941 года им не хотели верить, сомневались, что гитлеровская Германия готовится к войне, что все те ужасные сообщения из концлагерей не выдуманы, а соответствовали истине. С того воскресенья, 7 декабря, позиция ожесточившихся противников Гитлера стала официальной. Однако, как это ни странно, они как граждане Германии,

несмотря на изгнание из своей страны, оставались «вражескими иностранцами». Они не лишались никаких свобод, а подлежали лишь регистрации в органах власти. Кто имел счастье быть американским гражданином, как я, например, нигде не обязан был регистрироваться, так как происхождение в момент приобретения прав гражданства становилось безразличным. В Америке были лишь полноправные граждане и неграждане.

В те первые военные дни настроение в Нью-Йорке было нервным и подавленным. Нападение японцев на Пирл-Харбор открыто считалось поражением руководства морских вооруженных сил. Победы немцев в России, сопротивление англичан в Африке были не очень оптимистическими знаменами победы.

В связи с этими событиями у меня появилось желание сделать больше, чтобы одолеть фашизм, чем писать еженедельные газетные статьи. Я стал искать применения в различных органах власти, где требовалось знание немецкого языка, но мне не везло. Меня утешали и советовали подождать. Между тем я писал и пытался незначительными побочными заработками улучшить наше финансовое положение. Я точно знал, что мои умственные способности могли бы соответствовать требованиям какого-либо бюро органа власти, но я был парализован пессимизмом, лишавшим меня сил для всякой должностной деятельности.

В эмиграции я лишился той «подъемной силы», которая необходима для успеха. Стремление к достижению цели превратилось в страх, парализовавший мои лучшие намерения. Самым большим достижением было устоять перед безуспешностью. Я же ясно сознавал, что жить без успеха не мог.

Сегодня, когда я преодолел то состояние, я знаю, что главное в жизни — противостоять безуспешности. Настоящих великих людей истории отличает не величие их успеха, а стойкость перед неудачей.

Мое сотрудничество в «Нойе фольксцайтунг» удовлетворяло лишь мое сознание, что я вообще могу писать. Конечно, мне доставляло удовольствие еженедельно видеть свои статьи под рубрикой «Это нас касается», но действия предложений и слов я не ощущал. Более чем в 600 статьях я обращался к незнакомым читателям и был удивлен, когда слышал, что были люди, читавшие мои труды.

Вся немецкоязычная печать в Америке была довольно изолированным явлением. Окружающий американский мир ничего не знал о ней. Даже лучшие немецкие предложения по форме и по содержанию никогда не были услышаны говорящими по-английски американцами. Редакция «Фольксцайтунг» состояла из людей, занимавших важные места в Веймарской республике. Вторжение Гитлера в германское руководство изгнало их из служебных учреждений и из страны. Я нередко с ужасом констатировал, что события прошли мимо некоторых из них совершенно бесследно. Изгнание в 1933 году они уподобляли тому, что в Германии называли «несчастливым случаем на производстве». Сегодня мы знаем, что это было гораздо большим.

Трагизм эмигрировавших немецких партий состоял в том, что они взяли с собой в эмиграцию свою разобщенность. В то время, как рушилась огромная часть мира, антифашистские партии доказывали друг другу свою правоту.

## Письмо двадцать второе

Сегодня, когда война в Европе подходит к концу, для каждого эмигранта наступило время дать себе окончательный отчет о своем отношении к европейским событиям. Кто в Америке мог бы понять, если бы урожденный европеец утверждал, что происходящее в Европе его не интересует?!

Я считал, что рожденный в Европе американский гражданин больше других должен думать о последствиях победы в Европе. Главное — это предотвращение несчастья, подобного тому, какое Гитлер и его приспешники принесли человечеству. Роль, которую в этом мог играть отдельный эмигрант или антифашист, была незначительна, но и немаловажна. Но, к своему ужасу, я замечал, как мало было таких, которые за 12 лет страданий научились чему-то другому, кроме того, что называют «отмщением». Ненависть к убийце естественна, но ненависть снова порождает убийство и несчастье.

Теперь нужно найти политику, которая бы не мстила, а исправляла. Люди прямо-таки стесняются произнести слово «любовь», потому что это самое неправильно понятое слово языка. Ненависть ослепляет, любовь делает зрячим.

Пойми меня правильно, сын мой, я не за оправдание тех преступников, которые сегодня еще воюют с нами, я против создания нового кровавого мира, в котором властвовало бы убийство. Не глаз за глаз, не зуб за зуб, а освобождение от зла — вот мой лозунг. Я знаю, как трудно сегодня так мыслить и так говорить, однако я за него, потому что ужас прошлого мучает меня страхом за будущее.

Победив в этой войне, мы должны извлечь из нее урок.

Когда я думаю, что тебе через 10 лет придется идти с оружием против мира, то победа в этой войне представляется мне бессмысленной. Я знаю, что многие люди сегодня убеждены в том, что большие войска представляют защиту. Конечно, никто не станет пропагандировать безоружность, однако безоружный дух тысячекратно превосходит зловещий дух милитаризма.

Пацифизм в Германии всегда рассматривался как признак слабости, будто пацифисты из-за трусости своей не хотели идти на войну. Тому, что пацифизм в действительности хотел одухотворить лишь сопротивление, в Германии почти никто не верил. Когда гитлеровское движение начало нарастать, выражение «сильная Германия» стало действующей фразой. Невзирая на несчастья и нищету, последствия первой мировой войны, дух в Германии ценился меньше бряцающего меча. Здесь же, в Америке, демократическая страна решилась на создание боеспособной армии, но единственно в целях обороны. Гражданский человек в Америке по чину превосходит всякого солдата, и сила армии используется лишь для защиты гражданской жизни и американской демократии.

Большая разница между Германией и Соединенными Штатами состояла в том, что там, как при Вильгельме, так и при Гитлере, главенствовала каста военных, а здесь таковой вообще не было.

Сегодня можно уверенно сказать, что виной многих народов было то, что они до тех пор бездействовали, пока несчастье Германии не стало бедой мира.

Эгоизм народов и отдельных людей привел к этой катастрофе, и ее жертвы сегодня внутренне так разрушены, так бездомны, как никогда, несмотря на гостеприимство великой Америки. Национальное ограничение людей является причиной политического эгоизма.

Когда я вижу, как эти изгнанные люди живут и ходят по улицам городов Америки, мне кажется, что это умершие, не понявшие своего теневого существования. Это жизнь призраков, которая поддерживается в них лишь воспоминаниями и надеждами. Это жизнь без настоящего, ибо она очень стеснена и безрадостна. Я сам не исключение, одно лишь отличает меня от этих людей: думаю, что я сознательно жил своей теневой жизнью.

Мне хотелось бы, дорогой мой сын, чтобы ты никогда не был оттеснен в это призрачное существование. Живи при дневном свете и в настоящем, забудь вчерашнее и не бойся будущего. Не смейся над этой банальностью, мы не раз убеждались, что великое нередко можно передать лишь избитыми фразами. Большим нашим счастьем в те труднейшие десятилетия была возможность познания, которым я хочу воспользоваться.

В то время я делал попытки устроиться на гражданскую службу. Случай свел меня с умной светловолосой дамой, которая потом в течение трех лет была моей секретаршей. Эта урожденная американка, выросшая в Германии и Норвегии, занимала важную должность в органах власти. Благодаря ее посредничеству, мне предложили явиться на испытание по языку. Однажды утром я отправился на Двадцать третью улицу, где встретил около пятиде-

сяти других кандидатов. Испытания принимала молодая приветливая дама. Нам пришлось делать переводы с английского на немецкий и наоборот.

Немецкие тексты в основном представляли фотокопии писем, написанных от руки, которые я читал без труда, но не так было для рожденных в США. Сознаюсь, сын мой, что последний мой экзамен был в школьные годы. Как художник и писатель я должен был предъявлять выполненные работы без экзаменов. А теперь я сидел за настоящей партией в бывшем школьном помещении и старательно писал свои переводы. Мне это было нетрудно. Я первым сдал свою работу и был уверен, что провалюсь. Тем более я был удивлен, когда на улице один из «соучеников» мне сообщил, что он сам видел, как наша «учительница» на моей работе поставила «100%».

Только не думай, что я сразу получил должность. Началось «исследование» моего характера относительно деловитости, лояльного отношения к государству. Мои друзья позднее сообщали мне, что их всех об этом спрашивали. Следующие месяцы были трудным временем ожидания. Чем я занимался, не знаю. Ты находился тогда в Рено, где должен был состояться мой развод с твоей матерью.

В безделье я несколько недель провел в Провиденсе у двоюродного брата, живя надеждой на назначение. С болью в душе привыкал я к холостяцкой жизни. Разлуку с семьей я переживал болезненно.

В это время мне исполнилось 50 лет. Полвека моей жизни ничего не дала мне, кроме надежды на лучшее будущее и воспоминания об успешной жизни в Европе. Не нужно быть сентиментальным, чтобы понять важность пятидесяти прошедших лет.

Долгое прошедшее и короткое будущее время могут удержать чаши весов в равновесии лишь в том случае, если настоящее содержательнее прошлого.

В то время был жив еще мой брат, и я послал ему в Палестину поздравление к нашему общему дню рождения. Вспомнился мне трагикомический случай. В 1927 году какая-то хиромантка предсказала мне, что я в 50 лет буду очень одиноким. Пятнадцать лет назад, жизнь моя была полна радостей и друзей. В одиночестве я был только тогда, когда сам этого хотел. Теперь я был вынужден жить в одиночестве. Общение с людьми становится все более редким, отношения к ним теряют важность, и в конце концов остаешься один. Когда я увидел в свой день рождения вокруг себя довольные лица, мне стало ясно, что вопреки всем моим стараниям, я не научился самому простому в жизни, а именно — умению довольствоваться имеющимся. Недовольство положением возникло у меня из неумения удержать то, что мне принадлежало. Найти людей всегда было легко, удержать их — трудно. Раньше было легко найти новых людей, и не потому, что я был нетребователен, а потому, что у меня было достаточно энергии искать их. Ради покоя я пожертвовал лучшим, что у человека есть, — близкими людьми. Жизнь моя ускользнула из моих рук, и тем немногим, что я мог еще удержать, я вынужден был довольствоваться до конца моих дней.

## Письмо двадцать третье

По возвращении в Нью-Йорк мне снова пришлось вести такое же голодное существование, как и

перед отъездом в Провиденс. Рождество для меня было самым безрадостным из когда-либо проведенных праздников, хотя я и жил вблизи центрального парка, в так называемых меблированных комнатах, где проживали некоторые из моих друзей. Ты в то время находился далеко, в Рено, и я думал об этом с болью и сожалением. В детстве Рождество для меня было чем-то чужим, но в Ворпсведе этот праздник стал означать для меня больше. Хотя я и не понимал, что рождение Спасителя касается и меня, у меня было благоговейное и торжественное настроение.

Я знал, что праздник Ханука не имел для меня значения, даже символика зажигания свечей мне, как и многим другим евреям, стала чуждой. Истинно, что я долго старался увидеть в еврейских обычаях что-то убедительное для меня. Но безуспешно. Может быть, виноват в этом я, а может быть, действительность была сильнее тысячелетних обычаев.

Слова «мир на земле» в то военное время звучали неубедительно. Однако снова провозглашалась надежда, которой когда-нибудь надлежало осуществиться. Люди «доброй воли» в то время были в поругании и заключении или их голос был слишком слаб, чтобы его услышали. В Рождество 1942 года я сильнее обычного ощущал пустоту своего внешнего существования, которая не заполнялась внутренним богатством. Более, чем когда-либо, я был предоставлен самому себе. Мои отношения с друзьями были чисто внешними. Не было никого, кто понимал бы мои внутренние нужды.

Все еще не было письма из ведомства. Я был в очень нервном состоянии, так как не было возможности найти постоянное занятие.

В те дни случилось, что я, скептик и атеист, дал обет стать благочестивым евреем, если получу назначение от правительства. Это было серьезное обещание, хотя я знал, что дал его под принуждением внешних обстоятельств. Утешительное слово «если» позволяло отодвинуть момент осуществления этого обещания. Тем временем я попал в странную ситуацию: с одной стороны, я с нетерпением ждал приема на государственную гражданскую службу, с которым теперь было связано мое обещание; с другой — даже мысль об обете была мне неприятна.

Наконец настал день, когда на столе для почты я нашел «то» письмо. Но вместе с ним пришло также письмо из Вашингтона, в котором предлагалась мне работа переводчика в министерстве обороны. Заработок в обоих случаях устанавливался одинаковым. Так в моей жизни бывало часто: либо я не имел ничего, либо больше, чем достаточно. Либо мне нечего было есть, либо я не знал, куда девать деньги. Необходимо было принять решение. И я решился принять предложение из Нью-Йорка, написав, однако, и в Вашингтон, что через две недели сообщу о своем решении. Таким образом я надеялся выиграть время.

Через несколько дней я стал чиновником американского правительства. Следовало ли мне радоваться? Я отдал свободу, которая дороже денег. И перестановка, связанная с этим, была не так проста.

Теперь мне приходилось вставать в 6 часов. Позавтракав, я в 7.20 на метро ехал на Двадцать третью улицу. Дни и часы мои были заполнены и оплачивались. Но зато я расстался со своей прошлой жизнью, с моим одиночеством. Друзья уверяли меня, что это

мое спасение, что я теперь в состоянии вести нормальную жизнь. Но надо было оплачивать долги, которые составляли большую часть моего заработка, так что, несмотря на «нормальную жизнь», наличных денег у меня не было.

Нью-Йорк — город завораживающий и располагающий к трате денег. Но когда приходится учитывать каждый доллар, как это было со мной, то эта прелесть превращается в гримасу. Хотя я работал за деньги, но, как сказал мой друг, «ничего не получал, зато регулярно». В сущности так и было. Я это принимал с юмором. Жизнь моя тогда была втиснута в бюрократические будни, которые я в первое время трудно переносил. Но я стал привыкать к ним. Из-за честолюбия я даже старался сделать чиновничью карьеру, что мне частично и удалось. Внешне я жил очень строго и был пунктуален. Но душа моя словно отсутствовала во мне. Иногда, правда, она будто появлялась и ставила мне вопросы, на которые я не мог отвечать, так как был слишком усталым. Внешняя пустота не в состоянии была поглотить меня совсем, от этого спасал меня дар, который я очень ценил, — мой неукротимый юмор.

Мы с тобой жили тогда рядом, но я видел тебя лишь по воскресеньям или слышал твой голос по телефону — в этом и заключалась наша совместная жизнь. Должен сказать, что я был ею очень недоволен. Но изменить ничего не мог. Это было наказание за то, что я так беззаботно прожил долгие годы.

Я предчувствовал катастрофу в своем браке, но отворотить ее не мог. Я чувствовал себя, как человек в горах, который видит идущую на него лавину, но для своего спасения ничего сделать не может. И сейчас я

еще не в состоянии объяснить, почему я попал в такое состояние равнодушия. Что-то временами напоминало мне о моем обещании стать снова благочестивым, но я находил десятки причин для оправдания. Я еще раз попытался изменить свою жизнь. Обет того часа моей слабости был нарушен, но я видел больше смешного в том обете, чем греховности в неисполнении его. Так, без каких-либо важных событий, прошли лето и осень 1942 года. Часто мысленно я оправдывался тем, что участвую в преодолении фашизма.

Весь день я проводил в бюро среди людей, которые имели ту же цель и то же понимание нашей деятельности. Среди нас было больше мелких, чем крупных личностей. Все сотрудники знали немецкий язык, но для них это был лишь один из иностранных языков, которыми они владели. Для меня же проблема чувствовать и думать на другом языке была велика. Лгать я не умел, и 42 года, проведенные мной в Европе, невозможно было вычеркнуть из моей жизни. Из-за войны я попал в такое положение, что знание немецкого языка мог использовать, но моя деятельность в области литературы и искусства никому не была нужна.

Тот факт, что мое имя было в международном биографическом справочнике «W'. s. W.» или в Энциклопедии искусств, что я кое в чем добился успехов, что я нацистами был лишен гражданства и изгнан из страны, что мои книги были сожжены, — не имел значения и был частью того, что по-американски называлось «бэкграунд».

Это слово мне все больше казалось надгробием, которое говорило о прошлых достижениях, а в на-

стоящем являлось лишь ничего не говорящим символом. Были люди с отличным «бэкграундом», люди, знавшие страны, историю науки и искусства и писавшие известные книги. Однако в этом учреждении они считались лишь прилежными или ленивыми служащими, «бэкграунд» которых дремал в папках отдела личного учета. Для молодой бессердечной страны Америки это характерная черта, к чему европейцу трудно привыкнуть. Это суровое требование великой страны — сделать что-то для настоящего. Прошлое не считается; мгновение, час решают все.

Надо четко себе уяснить: все, что сделано в Европе, принадлежит прошлому, эпохе, не только отдаленной от Америки, но и очень отличающейся.

Для людей старше сорока тяжело, когда их прошлое не берется во внимание. Здесь оно значения не имеет. С вежливой улыбкой американец принимает к сведению прошлые заслуги, но они для него ничто, если их невозможно использовать. Америка требует постоянного самоутверждения, отчего у одних сдают силы, другие молодеют.

Люди, работавшие со мной, были в возрасте от 40 до 60 лет. Война предоставила им возможность принести какую-то пользу. И они ухватились за нее. Одной из примечательных моих особенностей (может быть, как у многих людей) является то, что я и сегодня, в мои 53 года, еще верю в свое будущее.

Совершенно безразлично, когда начнется и кончится это «завтра», я верю, что оно будет.

## Письмо двадцать четвертое

В 1943 году жизнь моя была однообразна и размеренна. У меня едва хватало времени на привычное посещение концертов, кино, театра. Для исполнения моей должности как государственного чиновника я должен был следить за своим физическим состоянием. Я, например, не мог себе позволить вечером поздно ложиться.

Я реже встречался с друзьями. Вспоминая сегодня то время, я вижу себя деятельным призраком, у которого уже не было настоящей жизни. Радость моя, заключающаяся в том, что я теперь регулярно мог поддерживать семью, омрачалась тем, что свою приверженность к искусству я мог проявить лишь в еженедельных статьях для «Нойе фольксцайтунг». Я выполнял эту работу аккуратно, и нередко, когда мне вечером приходилось идти в театр или кино, силы мои были на исходе.

Тогда передо мной все чаще вставал вопрос: почему? На него я лишь недоуменно мог ответить: «Не знаю». Я как-то потерялся, лишился силы сделать из моей жизни действительность, как раньше. Каждое утро на рассвете я шел на работу вдоль центрального парка до метро и старался внушить себе бодрость. Но я будто стал другим. Свойственная мне прежде живость угасла.

Однажды вечером я наткнулся на свою рукопись, набросок автобиографии. В ней я прочел: «Говорят, что есть добрый, справедливый Бог со строгими наказаниями и осуждениями, суд, решающий о жизни и смерти, но мы там лично появиться не можем. Суд находится где-то над нами, на небе или в аду, и

распоряжается нашим бытием или небытием. Приговор выносится без участия защиты. На что прадед Самсон Рафаэль Гирш сказал бы: «Мы призваны молиться». Он был верующим, у него была большая община. Я же один на свете, и нет у меня веры. Я разучился молиться».

Эти строки были написаны в 1932 году, в год твоего рождения и за год до того, как Гитлер пришел к власти. Это был последний беззаботный год жизни в Германии. Теперь эта рукопись снова передо мной. Я поражен силой своего неверия. В то время я написал книгу «Феликс и Фелиция», которая имела успех в Германии и появилась также в Америке. В предисловии для американских читателей я писал: «Прежняя жизнь мне удалась, почему бы в новой не иметь успеха?»

Чтение старых рукописей никак не удовлетворяло меня, но кое-что из того, что я считал мертвым, взволновало меня. Я стал неуверен в своей внешней жизни, стал сомневаться в успешности всей прежней жизни и предвидел неудачу в новой.

Таким было мое состояние в конце 1943 года, когда я случайно встретился с другом, с которым в свое время беседовал о Боге. Получилось как бы продолжение нашего разговора. Мой друг почувствовал мою неуверенность и готовность к дискуссии. Обстановка для религиозного разговора была неподходящей, так как мы праздновали Новый год. Но мы с другом в тот шумный вечер нашли местечко в углу комнаты, где нам никто не мешал.

Я хорошо помню, что беседа началась так:

- Дорогой друг, я нарушил обет.
- Обет?.. Ты, атеист?

— Конечно, когда давал обет, я не был атеистом, просто мои силы были на исходе. Я не знал, как жить дальше. И тогда произошло то, о чем я чуть не сказал «молился». Я снова обещал стать благочестивым евреем, но сделать этого не могу, так как не могу идти назад.

— А почему ты не идешь вперед? Я для тебя вижу лишь один путь — ты должен как-то исполнить свой обет. Стань благочестивым! Верь! Подчинись Высшей Силе.

— Сначала Высшая Сила должна показать мне, что она существует, лишь тогда я смогу ей подчиниться. Пока что я не могу верить в эту Высшую Силу. Меня поборола очень низменная сила — безденежье, нужда.

— Ты должен осознать, что эти низменные силы, как ты их называешь, посланы Высшей Силой, чтобы тебя испытать. Ты мог устоять лишь с помощью обета, в исполнение которого сам не верил.

Мы разговаривали очень тихо, но постепенно к нам присоединились остальные гости, под воздействием алкоголя исчезла скованность, и началась общая дискуссия о существовании Бога и об обете. Я поздно увидел, что наша беседа с другом превратилась в общую дискуссию. Помню только, что я, чтобы отстоять свои взгляды, занял совершенно отрицательную, атеистическую позицию. И вдруг я оказался совсем одиноким с моим утверждением, что никогда и нигде нет другой силы, кроме видимой. Я видел, что почти все мои друзья отклоняли мою резкую точку зрения.

Вечер для меня закончился рано, так как мне и в день Нового года надо было работать. В то новогод-

нее утро мной овладело очень тяжелое, давящее чувство, как это бывает, когда считаешь себя непонятым. Я говорил сам себе: «До чего я дошел, что не могу даже объясниться». Таким безрадостным начался для меня 1944 год, год решительного изменения моей судьбы. Мне стало ясно, что моя отрицательная позиция в отношении метафизических явлений непоколебима. Я искал всякую возможность для подтверждения своих взглядов. Я даже отчасти поддерживал мелкобуржуазные взгляды на метафизические явления моих друзей из «Фольксцайтунг», несмотря на то, что в душе все больше стал отклонять это радикально марксистское мировоззрение.

В памяти остался вечер дискуссии в Доме немецких профсоюзов, где бывший министр, социал-демократ, резко отклонял всякую попытку создать внутри социализма религиозную ячейку. Я в той дискуссии поддерживал только оратора. Но я понял, что даже в кругах социал-демократии религиозные проблемы имеют определенное значение.

Проблема религиозности в Америке была гораздо острее, чем в Европе. Как во всех англосаксонских странах, здесь принадлежность к какой-либо церкви обязательна. Не столь важно, к какой церкви человек принадлежит, но каждый знает, что у признающего себя атеистом и богоотрицателем положение очень нелегкое. Даже в кругах организованных социалистов принадлежность к церкви не помеха.

Среди европейского населения Америки исповедание религии является не только внешним делом. Американские евреи большей частью без средств пришли на новый континент из Польши или Рос-

сии, но они принесли с собой как неотъемлемую ценность вероисповедание своих отцов. Когда в 1933 году увеличилась эмиграция в Америку, в страну впервые пришли переселенцы, мало связанные с религией. Хотя среди них встречались и некоторые убежденные благочестивые люди, в большинстве же они были «свободны от религии». Из-за жестокого антисемитизма в Европе их взгляды на еврейство были вытеснены и превращены в национал-расистские. Еврейские обычаи поддерживались лишь как национальные памятные праздники.

В кругах, к которым я принадлежал, религиозная проблема не существовала. Так как отошла и национально-расистская проблема, осталось вообще мало проблематичного. На пути к национальной самобытности американцев религия для европейской интеллигенции не была тяжелым грузом. Помню, что я стеснялся говорить со своими друзьями об этих проблемах. Позднее это чувство еще более обострилось.

Я попал в сомнительную ситуацию, которую внутренне не мог преодолеть. Сомнительным, так сказать, стало все: искусство, наука, литература. Почти все жизненные проблемы для меня изменились, и я не видел верных решений.

Ты помнишь несчастный случай, происшедший с тобой, дорогой мой сын? Однажды, в воскресное утро, позвонила твоя мать и сообщила мне ужасную весть. Я мог лишь, запинаясь, произнести: «Что?.. Без сознания!.. Пролом черепа!.. Госпиталь!..» Это было предупреждение Провидения, которое мне хотело указать на границы моих сил.

Несчастье случилось в 9 часов вечера, когда ты по легкомыслию хотел перебежать дорогу. Миг, когда

твоя мать нашла тебя окровавленного и без сознания на улице, был для нее ужасным. Ты попал под машину. В бессознательном состоянии тебя доставили в госпиталь.

Никогда не забуду, как я в то воскресное утро спешил на метро в госпиталь. Мне казалось, что поезд ползет, как улитка. Я сидел в вагоне, бормоча какие-то слова, которые ничего не выражали, кроме ощущения человека, у которого отнимают самое дорогое. Я, забыв свой атеизм, молился, как это делал бы каждый отец, каждый человек: «Боже мой, не дай умереть моему мальчику!»

Тебя спасли. Оказалось, что не было пролома черепа, а только разрыв барабанной перепонки. Ты скоро поправился.

Сегодня я знаю, что это милость Божия сохранила мне тебя.

## Письмо двадцать пятое

В феврале 1944 года со мной произошел странный случай. Внезапно скончался мой друг доктор Пауль Штефан, музыковед, один из известнейших писателей не только в Вене, но и в Европе. Он был поклонником музыки Густава Малера, поддерживал все молодое и великое.

Это была постоянно воодушевленная, страстная натура европейца в лучшем смысле этого слова. В Америке ему было очень трудно. Его признавали и уважали, но заработать на жизнь пером своим он не мог, так что, ему, 63-летнему, приходилось заниматься многим, что не входило в круг его дарования. Он сносил это с неким грустным юмором. Я добился,

что «Фолькссайтунг» поручила ему отдел музыкальной критики, который прежде вел я.

Пауль Штефан в молодости перешел в католицизм и серьезно относился к своей вере. На его похороны собрались все, кто интересовался европейской музыкальной жизнью. Панихида состоялась в церкви святого Иосифа в Йорквиле. Случилось так, что при выходе из церкви со мной заговорил один мало знакомый мне человек. В конце нашей беседы я сказал:

«На мои похороны вам не придется отправиться в церковь».

Пастор Форель ответил: «Однако, надеюсь, в синагогу!»

Этот как будто незначительный разговор сыграл большую роль в моей дальнейшей жизни. Снова была затронута струна, звучание которой привело меня в замешательство. Словно окликнули лунатика, и он падает с высоты, — так я в те дни пугался и беспокоился, если кто-либо заговаривал о проблеме, которую я сознательно обходил.

Те февральские дни 1944 года незабываемы для меня, так как они привели меня в состояние, какого я не знал ни прежде, ни потом. Я жил, как во сне, все вокруг меня, казалось, удалилось; люди словно из тумана появлялись передо мной. Работу мою я выполнял механически. Существование мое стало призрачным, и я утратил его смысл. Я посетил всех своих знакомых друзей-врачей и всем объяснял свое странное физическое состояние. Так как органические нарушения у меня не обнаружили, они объяснили все это нервным состоянием и порекомендовали американское лекарство.

В один из зимних вечеров я смотрел премьеру фильма «Песня Бернадет». В нем я впервые узнал чудесную историю о Господе и рассказ о простой крестьянской девушке Бернадет, открывшей целебные источники. Дженифер Джонс играла так увлекательно и естественно, что это потрясло и самого неверующего. Фильм был создан по известному роману-шедевр немецкого языка Франца Верфеля, имевшего в американском переводе огромный успех.

Несмотря на реализм военного 1944 года, казалось, будто история простой деревенской девушки Бернадет, которая в экстазе видит Мадонну, овладела всеми сердцами. В вводной части фильма Верфель говорит: «Верующим обоснование не нужно, для неверующих оно бесполезно».

Этот вечер был для меня большим событием. Когда я позднее писал свою критическую статью, то вдруг почувствовал сильное желание еще раз посмотреть этот фильм. Я прямо жаждал услышать из уст нежной Бернадет простые и умные слова, поразившие меня до глубины души. В следующий вечер я снова сидел в кинотеатре и в третий вечер тоже.

Сегодня я лишь сухо могу констатировать то, что тогда почти бессознательно пережил. Я испытал благочестие — не католическое или евангелическое, или другое какое-либо церковное благочестие. В те вечера я обрел счастье дара благочестия.

Трудно выразить словами, что тогда во мне происходило. Словно что-то изменилось внутри меня, так обострилась моя восприимчивость. И дело было не только в фильме. Помню, что потом дома у меня впервые со времен моего детства было желание

молиться, но я был не в состоянии выбрать для этого язык. Наконец я вслух стал говорить «Шма Исраэль».

В те дни не было никого, с кем я мог бы об этом говорить, — так мне казалось. Я ничего не знал о Друге, Которого познал как Такового лишь через много месяцев. Тогда я мало времени проводил с тобой, сын мой, я боялся показаться тебе странным и нервным. Мне было больно жить без поддержки и понимания других людей, однако не забуду заботу и доброту моей подруги Герты, которая делала все для преодоления мною трудностей.

Но, как и все другие из круга моих друзей, она также вынуждена была трудиться, чтобы зарабатывать деньги, и для других дел времени у нее оставалось мало. Примечательным в те февральские дни 1944 года было то, что внешне у меня ничего не изменилось. Правда, самочувствие иногда могло бы быть лучше, но это меня не беспокоило. Я не знал, как знаю это сегодня, что в те дни растворилась и изменилась часть моей души; что я шел навстречу смерти, которую должен был пережить. Сегодня я понимаю, что даже то, что казалось бессмысленным в то время, было осмысленным и необходимым. Я стонал от моей телесности, беспомощности, пораженной немощи. Я вздыхал от тяжести душевного замешательства, с которым не в силах был справиться.

В конце февраля пришло письмо из Иерусалима. Поздней ночью я попытался прочесть его. Моя племянница обстоятельно сообщала, что ее отец скончался от воспаления легких. Сначала я даже не понял, о ком идет речь, но вдруг с ужасом понял, что умер мой единственный брат.

Я чувствовал большую боль, смешанную с сожалением, что мы с ним не увиделись еще раз. Моя племянница Мириам писала, что он до самого конца постоянно говорил, как хорошо было бы еще раз со мной увидеться.

Брат мой скончался 10 января в Иерусалиме. Он находился в стране, по которой он всегда тосковал, однако из последних его писем было видно, что он был разочарован.

«Он не хотел больше жить», — писала его дочь, и я его хорошо понимал. Это полностью подходило к образу бедного пессимиста, каким он всегда был. Сионизм, который для него в последние годы означал все, не мог дать ему желания жить.

Мой брат-близнец умер, и я почувствовал одиночество. Не то, чтобы меня связывало сильное душевное единство, но я знал, что брат незаменим. Это я чувствовал так же сильно, как тогда, после смерти нашей матери.

27 февраля я пошел на службу и вернулся домой, как всегда. После ужина я посетил еще мою подругу, артистку Эллен Шванеке, встретил у нее некоторых людей, вел с ними оживленный разговор и в 11 часов вечера пошел домой.

Я лег в постель. Когда проснулся, было уже 1 марта.

## Письмо двадцать шестое

Никто не может сообщить о своей собственной смерти. Если я употребляю слово «смерть», то это вполне серьезно. Меня постигла тогда физическая и духовная смерть. Было больше, чем то, что определили врачи: двустороннее воспаление легких с ин-

фарктом миокарда. Против этого мне давали кислород и камфару, сульфамидные таблетки и другие лекарства. За мной заботливо ухаживали, я чувствовал постоянное внимание сестер и врачей.

Я был без сознания, когда меня на носилках несли вниз по лестнице, чтобы отвезти в больницу. Жизнь моя казалась конченной. О тех часах я ничего не знаю. Потом было пробуждение на секунды, внезапные провалы в нездоровый сон, и в ту ночь, когда я умирал, мне не давала покоя какая-то мучительная забота.

Сегодня я знаю, что это меня мучило чувство неготовности к смерти. То, что я тяжело болен, я едва ли понимал. Этого я не боялся, мне лишь хотелось выбраться из той тьмы на свет.

Это произошло ночью, когда около моего уха шумел кислородный аппарат и озабоченный врач Каскель делал все, чтобы облегчить мои страдания. В ту ночь я вдруг увидел свет, который шел не от земного источника. Это был свет внутри и вокруг меня, он звучал всеми аккордами моей самой любимой музыки. Даже с закрытыми глазами я видел этот свет. Он был не угрожающим или опасным, а утешающим и успокаивающим.

Я не ощущал ни времени, ни пространства, ни тела своего, вздрагивавшего от укола иглы, была лишь глубокая, сконцентрированная потребность отдохнуть, чтобы жить дальше.

Одновременно я знал, что никогда не смог бы вернуться в свою прежнюю жизнь. Она осталась позади, как неубранная, бедная комната, полная воспоминаний о злом, одиноком времени.

Ты, сын мой, занимал в этих воспоминаниях са-

мое значительное место. Я слышал твой голос и твой смех, которые были для меня утешительными и в то же время незнакомыми. А звучащий свет пел мелодию, которую я слышал не в симфонии, а в музыке, сопровождавшей фильм о Бернадет. Музыка стала образом. Трогательно детское лицо Дженифер Джонс склонилось надо мной и говорило по-детски умные слова, вроде: «Это была женщина, не знаю, была ли это Мадонна, она об этом не говорила».

В ту ночь своей болезни я был одинок, как никогда. Но это было одиночество иного рода, чем то, которое я знал раньше. Хотя я и был один, у меня не было чувства оставленности, которое меня так мучило в последние годы.

Так я из сферы смерти переместился в сферу жизни, но это было не движением назад, а вперед, будто пропасть этой смертельной болезни поглотила меня, чтобы дать мне воскреснуть.

С той ночи я не знаю больше чувства оставленности, так как понял, что Кто-то сильнее меня охранял и защищал меня. В последующие часы и дни мне становилось все яснее, что я творение Божие.

У того Бога еще не было форм и контуров, Он не был связан ни с какой верой или исповеданием, но одно я знал точно: это был не наказывающий Иегова, а прощающий Христос. А я так нуждался в прощении и любви, я был так тяжко виновен, как только может быть человек, который считает себя творцом своей судьбы. Иегова убил бы меня, а Бог любви спас меня.

Когда я пробудился ото сна моей болезни и увидел свет выздоровления, мне стало ясно: я возвратился к Богу.

Мне было трудно всем друзьям и людям, посетившим меня в больнице, рассказать о моем духовном переживании. Однажды я попытался поговорить об этом с одним из сотрудников редакции, но тот с ласковой насмешкой сказал: «Вы, наверное, действительно были очень больны».

У меня было достаточно времени подумать обо всем, что меня волновало и о чем я ни с кем не мог говорить. Ты знаешь, сын мой, что ты меня несколько раз навещал, но я тебе тогда еще ничего не мог рассказать о моих переживаниях. Все это было так ново и светло для меня. Здание моей прежней жизни казалось мне таким пустым и разваленным. Иногда мне казалось, что я слишком слаб, чтобы построить что-то новое. Я еще был очень болен и бессилён.

Мне стало ясно: иудаизм как религия мне был недостаточен. Я ничего не мог найти в еврейской религии, что бы подходило к моему состоянию. Я не хотел идти назад, а впереди я видел только лицо верующей Бернадет. Я уже слышал насмешки умников: «Да, в состоянии болезни человек нередко лишается сил бороться за жизнь».

Эту силу я нашел именно в болезни, но я знал, что выздороветь можно не от чего-то, а для чего-то. Меня охватывало странное чувство при мысли о том, что мне необходимо было бы поведать о моем духовном переживании. Как можно выразить то, очертания и форму чего не знаешь?

Наступил день, когда я нашел мужество попросить друга принести мне Библию. Он ее принес. Никогда при соприкосновении с книгой у меня так не билось сердце, как в тот раз. Зажмурив глаза, я раскрыл ее наугад и затем прочел место, которое

унесло всю мою нерешительность и сняло все сомнения, которое дало мне силы верить в то, чего я так желал. Это был 3-й стих из 3-й главы Евангелия от Иоанна: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царства Божия».

Это предложение я повторял до тех пор, пока не понял его до конца, пока не понял, что я пережил возрождение. Больной, слабый и беспомощный, но снабженный новыми силами, словно заново рожденный, я ощущал свое состояние как что-то тяжелое, но теперь я знаю, что это было начало вечного блаженства.

Любимым моим занятием в долгие больничные часы, которое меня возбуждало и одновременно успокаивало, стало чтение Нового Завета. Я наслаждался каждым словом, каждым слогом, и мне раскрывалась красота и глубина каждого слова Христа. Это были одновременно слова земные и слова потусторонние, которые имели и осязаемое, и духовное значение.

Часто я лежал с закрытыми глазами, размышляя о прочитанном. Так, в полусне, проходили часы, однако я бодрствовал чрезвычайно. У меня было время подумать о прошлом, и подчас казалось, что прежнюю мою жизнь и настоящую разделяют столетия. словно для меня было написано письмо апостола Павла к ефесянам (2:12): «...Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире».

## Письмо двадцать седьмое

Хотя я и поправлялся, но последствия моего заболевания давали еще о себе знать. Пробуждаясь к жизни, я чувствовал слабость и разбитость. Когда я выписался из госпиталя, у меня не было ни комнаты, ни другого пристанища, где я имел бы необходимый уход, поэтому я был вынужден идти в частную лечебницу, где мог получить самое необходимое.

Большую часть времени мне приходилось проводить в постели, так как я был еще слаб. Ты помнишь, сын мой, как ты, навещая меня, вбегал по лестницам ко мне на шестой этаж? Пребывание в этом доме было временным, но я не знал, куда отправлюсь после выздоровления. Я проводил день за днем в ожидании и надежде снова взяться за свою работу. Денег на моем счету в банке почти не осталось, и я мог оплатить мое пребывание в этом доме лишь с помощью нескольких верных друзей.

Настал день, когда я смог перебраться в пансион. Я поселился в небольшой светлой комнате, и хозяйка старалась хорошей пищей и материнской заботливостью облегчить мне жизнь. Потом я снова стал ходить на службу в бюро, где я занял свое прежнее место, будто ничего и не произошло.

Однако что-то произошло. Результатом последних месяцев была не только болезнь, но и осмысление моего внутреннего состояния. Странно было, что я, собственно, об этом никому не мог рассказать, что у меня не было друга, которому я мог бы поведать о переменах во мне. Я понимал, что все вынесенные мной боли и страдания приобрели смысл, что страдания ведут к совершенству. Я сделал

хоть и малый, но шаг вперед, хотя был далек от совершенства. А движение вперед — это возвращение к Богу.

Бог послал мне страдания и боль; Он подвел меня к краю пропасти, чтобы окликнуть и позвать к Себе. Туманная завеса во мне стала разреженной: я постепенно угадывал свой внутренний ландшафт, освещенный невиданным солнцем.

Решающим событием для меня стал момент, когда я осмелился отправиться к пастору Фридриху Форэлу, чтобы поговорить с ним о самом себе. Теперь пастор Форэл — мой лучший друг. Он лучше врача понимал мое душевное смятение, в котором я нередко бывал в связи с моим познанием, и помогал его рассеять. Когда мы сидели с ним под распятием в его комнате, он никогда не говорил ни о Христе, ни о моем прадеде Самсоне Рафаэле Гирше, которого он глубоко уважал, оставаясь тем не менее убежденным, страстным протестантом.

Благодаря этим беседам с пастором Форэлом я понял не только свое собственное положение, но и положение всех евреев, которое можно назвать воистину бедственным. Особенно теперь, когда германские евреи изгнаны со своей родины и рассеяны по всему миру.

Я с ними встречался в том пансионе: это бывший врач, бывший адвокат, крупный купец со всеми его привычками. Бессмысленно было бы рассказывать им о моем познании и изменении. Если бы они узнали о моих убеждениях, то назвали бы меня предателем. Мой друг Форэл хорошо знал этих людей еще по Европе. Он всеми силами старался им помочь — физически и духовно. В некоторых случаях

ему это удавалось. Но вывести людей из дебрей разрушенной жизни было нелегко.

Я все яснее понимал, что мое внутреннее обращение к христианству произошло не случайно. Постепенно я стал чувствовать радость в моем продвижении вперед, но я не знал, как ее выразить. Пастор Форэл без нажима подбадривал меня обрести самого себя. Ни одним словом он не обмолвился о том, что мне бы следовало принять крещение. Он словно больше заботился о внутреннем моем освобождении, чем о внешнем исповедании.

Теперь я знаю, что только наглядный пример может способствовать облегчению участи евреев.

Были еще тяжелые недели борьбы с моими телесными страданиями. На работе я с трудом справлялся со своими обязанностями, и однажды, в июле, упал без сил. Врач посоветовал мне немедленно лечь на операцию, и я послушался. Летним жарким и душным вечером я с небольшой сумкой в руках отправился в Бруклин — в госпиталь.

Преодолев робость, я стал молиться. Я говорил «Отче наш» не для самого себя, а просил лишь избавления от болей и о продлении моей жизни, пока не окончу свой труд.

Свой труд?

В тот момент мне казалось самым сложным возвратиться к слову, заполнить его смыслом и значением, отображением внутреннего процесса. И я знал, что пока этого не сделаю, мне надо еще жить. Потом лежал в госпитале с двадцатью пятью больными в одной палате, я был далек от реальной жизни. Но со мной был Бог, и я ничего не мог делать, как только молить Его об исполнении моих желаний.

Ночь перед операцией была ужасной; я слышал стоны и жалобы больных. Рядом лежал стонавший пожилой еврей. Я слышал жалобное бормотание другого больного, шумы больницы, словно музыку, полную диссонанса. Я почти не спал, а утром меня увезли в операционную.

Проснувшись после наркоза, я не чувствовал никакой боли. Мое телесное бытие было погашено, во мне начал играть далекий оркестр. Это была постепенно нарастающая мелодия жизни.

Через несколько дней я вышел из больницы. У меня больше не было болей, и я радовался возвращению к жизни. Теперь я чувствовал в себе достаточно мужества, чтобы говорить о своем самом сокровенном.

## Письмо двадцать восьмое

За месяцы моей болезни и постепенного выздоровления я понял, что решающее и лучшее в жизни совершается тогда, когда отключена сознательная воля.

Так я пережил свое духовное пробуждение в то время, когда считал себя выше всего этого. Последние года я, стиснув зубы, сопротивлялся коварству казавшейся мне бессмысленной судьбы. Позади была самая тяжелая часть моей жизни в Америке, которая осталась в моей памяти трудной, не так внутренне, как внешне. Ибо внутренне во мне росло то, что позднее открылось как болезнь, смерть и воскресение. Время голода и бедности, годы, сопряженные с постоянной борьбой за насущное, были позади.

В ту ночь, когда я по милости Божией пробудился к жизни, все горестное и ничтожное умерло во мне. По существу я изменился не сразу, это было не так просто. Годы безбожия и повышенного эгоцентризма были преодолены, но следы от тех лет еще оставались.

Не думай, сын мой, что я сразу от атеизма перешел к христианству, это было не так просто. Но при чтении Ветхого Завета я все чаще натыкался на места, соответствующие повествованию Нового Завета, дававшие мне утешение и глубже раскрывавшие смысл прочитанного в Ветхом. Было ощущение, будто я находил то, что долго искал.

Вдруг я почувствовал счастье быть исцеленным как обязанность стать человеком. Разве я не всегда им был? Да, но я шел по жизненным путям, как заблудший, как не знавший своего пути. Помню, раньше я часто останавливался и спрашивал себя: «Должна же жизнь моя иметь какой-то смысл?»

Теперь я почувствовал, что должен свернуть на путь иной, не соответствующий моему происхождению и традициям. Я ни с кем об этом не мог говорить, хотя сердце мое иногда было переполнено. Почти все мои дружественные отношения с людьми распались. Я встречался еще с теми, кто не оставил меня во время моей болезни, но о том, что горело у меня в душе, я с ними говорить не мог. Только перед одним человеком я мог открыть душу. Это был пастор Форэл. Не трусость мешала мне в том немецко-еврейском пансионате, где я жил, говорить о религиозной перемене во мне, а опасение скомпрометировать себя. Я не был уверен, что смогу говорить об этой новой любви. Я сам бывал

недоволен собой, но помочь самому себе всегда довольно трудно.

Война подходила к концу. Никто уже не сомневался в поражении нацистской Германии. В нашем бюро теперь о мире говорили больше, чем о событиях на войне.

Однажды в бюро пришло сообщение, что нам как чиновникам предоставляется возможность отправиться в Европу, где могут использовать наши знания. В материальном отношении предложение было привлекательно, но оставить Америку в этот период моей жизни мне казалось абсурдным. Я объяснил себе и своим друзьям, что мне в Европе делать нечего и что моя служба правительству с окончанием войны прекратится. В финансовом отношении я себе свое будущее представить никак не мог. Да я о нем и мало заботился, хотя с ужасом сознавал: страшное время 1942 года повториться не должно.

Когда меня официально спросили, приму ли я должность в Европе, я, несмотря на мои сомнения, все же согласился. Я понял, что жизнь моя должна измениться основательно. Для этого я и заставил себя принять это предложение. Но времени было еще достаточно: я должен был отправиться в Европу через 60 дней после окончания войны.

В рождественское время мне стало совершенно ясно, что в моем отношении к христианству должно что-то произойти. Об этом своем намерении я даже пастору Форэлу не мог рассказать. На праздники я поехал в Провиденс навестить родственников. Это была довольно странная идея, так как Рождество я отметил бы лучше просто в церкви. Для меня словно нашлась причина уехать, чтобы не выполнить своего

внутреннего желания. Тебе, мой дорогой сын, покажется, наверное, нелогичным и странным, что я все еще не осмеливался сделать то, что хотел. Но так как в душе я знал, что однажды сделаю все так, как считаю необходимым, то был достаточно терпелив.

В дорогу для чтения я взял с собой одну лишь Библию, которую уже давно ежедневно читал. Неожиданно в Провиденсе я попал прямо на праздник Ханука, и само собой разумелось, что я со всеми пойду в синагогу. Так я и сделал. Должен сказать тебе, что во время богослужения я вдруг сложил руки и стал говорить молитву «Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе».

Я произносил молитву медленно, наслаждаясь каждым словом. Для меня это была не заученная молитва, произнесенная бездумно, а признание — сознательное и полное радости.

«Хлеб наш насущный дай нам на этот день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого».

Смысл этой молитвы я понял сразу, как только впервые ее прочитал. Теперь же здесь, в синагоге, во время торжественного хорового пения, я понял, что неважно, в какой форме мы к Богу обращаемся. Бог из «Отче наш» был Богом евреев. Если молитва и была христианская, то набожность, выраженная в ней, была такая же, как еврейская. Однако, как я теперь понял, в еврейском учении не было ни одной молитвы, которая так непосредственно была бы обращена к Богу и которая позволяла бы людям так свободно и непринужденно говорить с Богом, как в

молитве «Отче наш». В ней Бога не упрашивают совершить чудеса, а верующий человек лично говорит со своим Богом. Противоречие между еврейским ритуалом и христианской молитвой для меня было устранено. Во время заключительного песнопения я благоговейно произнес предложение: «Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь». Это была не формальность, а внутренняя необходимость выразить свою веру в какой-то форме. Я слышал пение хора, еврейские слова звучали в моих ушах, звучала прекрасная, словно рождественская, песня, но она меня не трогала.

Однако торжественная атмосфера богослужения побудила меня помолиться. Я сложил руки и вновь произнес молитву «Отче наш», беззвучно, проникновенно. Во время хорового и общего пения я был, наверное, единственный, который молился здесь Богом словами из Нагорной проповеди.

Этого, конечно, никто не заметил, но тогда я вдруг почувствовал что-то вроде стыда за то, что я тайно проявлял свои религиозные чувства, и сказал себе: «Я должен признаться вслух. Что толку, если я потихоньку про себя говорю об этом? Пусть знают все». Меня побудила к этому признанию не только гордость, нет, это было что-то совсем другое.

Придя к христианству, я почувствовал себя обязанным не только подтвердить, что я нашел путь к Богу, но мне необходимо было об этом и свидетельствовать.

Апостол Павел писал римлянам (10:10): «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

## Письмо двадцать девятое

Слова Гете: «Нужно писать только тогда, когда не можешь не писать» — стали для меня решающими. Для меня действительно стало необходимостью отобразить историю моей жизни так, как я ее сейчас ощущаю.

Еврейский вопрос в этой книге должен играть решающую роль, так как речь идет не обо мне одном, а о всех остальных евреях.

Мой путь как еврея не заканчивается переходом к христианству.

Антисемитизм сегодня в мире сильнее, чем когда-либо, едва ли он будет преодолен географически — переселением.

Если я хочу показать путь еврейства за последние 50 лет на моем примере, то делаю это, считая, что каждый может говорить лишь о себе.

«Еврейский вопрос» — это то, что каждый еврей считает своим вопросом.

Несомненно, большинство переживших катастрофу евреев достигли сознания, которое можно назвать национальным еврейством. Учение о Синае стало нравственным посланием, в которое верит весь мир.

Только духовное — иудейская вера — пережило века. В настоящий момент, когда большинство евреев переходят от духовного еврейства к политическому еврейству, пора им напомнить о следующем.

Речь идет об избавлении каждого отдельного еврея от цепей тысячелетней истории.

Еврей был избран принять учение. Его старания укорениться одинаковы во всех европейских стра-

нах. Но там зверства расистского обмана отняли у него лучшее, что он приобрел за последнее столетие: немецкий еврей был немцем, как французский еврей был французом.

Изгнанный, он лишился родины, и в большинстве случаев у него не было даже еврейской веры. Еврейское сознание пробудилось вместе с сознанием принадлежности к меньшинству, обвиняемому победоносным большинством во всевозможных преступлениях.

Они ходили по большому городу Нью-Йорку скорее как немцы, чем как евреи. Американские евреи в большинстве пришли из Восточной Европы, и их родным языком был идиш. Немецкие же евреи идиш знали хуже английского. Они вполголоса говорили по-немецки, так как не знали другого языка.

Таким образом их положение становилось трагичным, так как они за пережитое в Старом Свете старались его ненавидеть. В пансионате, где я обитал, жили главным образом немецкие евреи, подвергшиеся изгнанию и преследованию. Их всех объединяла общая судьба, но у них не было общего вероисповедания. Им религия вообще была безразлична. Они ее давно забыли. Трагичность своей оторванности от родины они едва сознавали. Они старались быть американцами, как прежде — немцами, чего не допустили фашистские власти.

Все эти типы: врачи, адвокаты и купцы — были когда-то заметными представителями европейской интеллигенции. Теперь же они оказались в Америке и ждали нового будущего. Занимавшие прежде целые дома и просторные этажи теперь ютились в узеньких неприглядных комнатах. Они с трудом до-

бывали себе хлеб и рады были иметь самое необходимое. Они объединялись в землячества, где наслаждались воспоминаниями о лучшем времени и надеялись на лучшее будущее.

У них было прошлое и было будущее, но не было настоящего.

Они играли героические роли, но были плохими актерами. Костюмы были драными, декорации — выцветшими. Трагическая ситуация большинства эмигрантов казалась безвыходной. Почти никто не думал о возвращении на родину. Положение детей было иным. Взамен едва знакомой родины они получили новую, тогда как старикам приходилось мириться с жизнью без настоящего.

Если бы я этим людям рассказал о моем пути и внутреннем решении, они меня едва поняли бы, ибо их духовная нужда не была связана с религией.

Это, разумеется, относилось лишь к тем евреям, которые стали равнодушны к ортодоксальному иудаизму. Мне вспоминается вечер в кругу крайне ортодоксальных евреев, где ни слова не говорилось о политической ситуации. Благочестивые евреи не касались подчас очень тяжелых внешних событий. Они жили в мире веры, казавшейся им несокрушимой.

Мне очень трудно было общаться с людьми, которым я не мог объяснить своего внутреннего отношения к еврейской вере. Случилось, что старший раввин в Риме принял католицизм. Возмущение было одинаково большим, как среди верующих евреев, так и среди мало думающих о религии. Его называли изменником, предавшем в бедственное время веру отцов.

Я осмелился сказать во время дискуссии: «Бедственное время всегда, ибо в истории нет ни застоя, ни надежности».

Со своими взглядами я был довольно одинок.

Если бы я тогда, как сегодня, ясно сказал: «Я сам на том же пути», меня, мягко говоря, не поняли бы. Потом я стал искать единомышленников, которые были бы в таком же состоянии, как я. Было бы гораздо целесообразнее разрушить мосты к моему прошлому. Но я этого не делал и жил, как до уверования.

Конечно, вечера с моим другом Форэлом были настоящим отдыхом для меня. Здесь я находил понимание и поддержку, объяснение и одобрение для продолжения своего пути. Редко случалось, чтобы Форэл критиковал какое-либо из моих действий. Он пытался объяснить мне важное, скрытое в самом незаметном. Больше, чем утешением, были для меня его слова: «Каждый сам должен пройти свой путь, я только могу убрать с вашего пути некоторые камни, не более».

В то время я действительно был одиноким, однако не чувствовал себя оставленным. Я старался выяснить свое внутреннее состояние, справиться с прошлым, чтобы создать настоящее.

Было у нас небольшое общество, в котором я чувствовал себя хорошо. Там собирались простые люди, которые открыто обсуждали свои духовные нужды. Сначала мне это показалось немного смешным, но потом я понял, что возможность высказаться является необходимостью, что без этой возможности людям трудно жить.

Час, когда мы собирались, мы называли библейским часом. Он проводился каждую среду в зале пре-

свитерианской общины на Девяносто пятой улице. Руководил этими занятиями обычно пастор Форэл. Мы читали главу из Библии и обсуждали ее.

Говорили мы на немецком языке, так как участники библейского часа в основном были немецкими эмигрантами, которые не нашли другого открытого общения, кроме этого библейского занятия. Несмотря на некоторые существенные различия, я там нашел духовно родственных мне людей.

Эти вечера по средам с пастором Форэлом были прекрасной возможностью разобраться в самом себе.

## Письмо тридцатое

В феврале 1945 года мне предстояло явиться на военно-медицинское обследование на предмет моей деятельности в Германии. Я мало надеялся на положительный результат. Однако, к моему удивлению, меня признали годным. Итак, все было решено, и я находился в странном настроении. Расставание с Америкой прежде всего означало расставание с тобой.

Сознание деятельности и активности, обеспеченности на целый год облегчило мне многое. Еще шла война, а прибыть в Европу я, согласно договору, должен был, как я уже писал, лишь спустя 60 дней после победы. Мне казалось, что время летело очень быстро. Вдруг у меня появилось предчувствие приближения совершенно нового поворота в моей жизни. Эта поездка в Европу, думал я, была не просто переменой места жительства. Мной овладевало странное чувство, когда я представлял себе, как я в

военной форме как служащий оккупационной армии вернусь в Германию. Мне стало ясно, что эта поездка в Европу обяжет меня прямым и критическим взглядом дать отчет о каждом дне. Из беседы с моим другом Форэлом о предстоящем изменении я понял, что перед отъездом должен совершить шаг, соответствующий моему религиозному убеждению.

В Страстную пятницу 1945 года в Карнеги-холле давали «Страсти по Матфею» в несокращенном виде. Дирижировал Бруно Вальтер. Я смог освободиться от работы, чтобы в 14 часов быть на представлении. Я знал, что это будет для меня последний большой концерт в Америке.

Одновременно я знал, что «Страсти по Матфею» я впервые услышу в их истинном значении.

В Страстную пятницу вечером пастор Форэл должен был принять меня в христианскую общину. Если все представления, которые я слышал до того много раз, имели для меня главным образом значение как музыка Иоганна Себастьяна Баха, то в этот раз незабвенным стал для меня текст из Евангелия апостола Матфея и история страданий Иисуса Христа.

Когда полилась музыка и пение хора, настоящее для меня полностью исчезло. Я забыл, что нахожусь в Нью-Йорке, мне показалось, что я в Гарнизонной церкви в Берлине, где я так часто слушал «Страсти». Музыка разбудила во мне воспоминания, перенесла меня через время и пространство.

И все же это было совсем не так, как раньше. Прежде я воспринимал «Страсти» только как музыкальное произведение. Теперь же я каждое слово этого произведения относил к моей собственной судьбе. Я внутренне произносил и пел текст, который знал

почти наизусть. Дирижер Бруно Вальтер руководил оркестром без партитуры. Его вдохновение увлекало музыкантов и хор.

Все эти сладостные арии, суровые хоралы действовали на меня, будто я их слышал впервые. А я ведь наслаждался ими и прежде каждую Пасху.

В том и состояло потрясающее событие Страстной пятницы 1945 года, что я «Страсти по Матфею» слушал будто впервые, хотя знал каждый ее звук. Представление давалось полностью, без купюр. Это было ново для меня. Но скучно не было, было даже радостно слышать повторение арий. На вопрос: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву или Иисуса, называемого Христом?» — толпа крикнула: «Варавву!» Оркестр и хор слились в мощном фортиссимо. Повелительно, жадно... Они Спасителя хотели увидеть на кресте. Пилат спросил: «Что же я сделаю с Иисусом?», а возбужденная толпа в экстазе крикнула: «Да будет распят!..»

Пилат же умыл руки и сказал: «Не виновен я в крови Праведника этого... смотрите вы...»

«В ответ весь народ сказал: «Кровь Его на нас и детях наших!»

Сколько раз я слушал «Страсти», но в Страстную пятницу 1945 года в Карнеги-холле, в Нью-Йорке, они меня поразили, как никогда.

С нарастающей ясностью мне открывался путь к спасению. Это не было бегством, это был мой путь по велению Бога.

Путь со времени моей болезни до 30 марта 1945 года был коротким, и все же мне казалось, что я за тот год пережил больше, чем за все прежние годы.

То, что началось тогда в моих бредовых снах,

теперь стало действительностью. Я нашел путь, который повел меня назад, к Богу, вернее сказать, вперед, к Богу.

Когда звучало скрипичное соло второй части, мне казалось, что солнце пробивается через густой туман, солнце, звучащее, сияющее и освещающее все творение, и меня в том числе.

Слушая музыку, я знал, что наконец нашел путь к самому себе.

Я воспринял представление «Страстей по Матфею» в таком возбуждении, что забеспокоился. Из этого возбуждения я должен был прийти теперь к тому, что я себе мысленно представлял: к единству моего внутреннего и внешнего существования.

Представление кончалось. Хор пел «Мы со слезами садимся», и я сидел среди них, плакал с ними слезами благодарения, что Христос умер и за меня.

Когда я шел по Пятьдесят седьмой улице, мне казалось, что я впервые вижу вечерние сумерки. Я будто заново родился и плохо помнил, что было прежде. Я весь был в представлении «Страстей по Матфею», и оно освежило и омолодило меня. С радостно бьющимся сердцем я отправился к центральному парку, где жил мой друг.

Мы трое, Форэл, его жена и я, знали точно, что означал этот вечер. В 9 часов зажгли свечи, пастор надел свою ризу, а я сел на стул. Это было замечательным ощущением, что я мог пережить теперь то, чего так сильно желал.

Почувствовав капли воды на моем лбу, я понял, что жизнь моя приобрела новый смысл.

Долгий путь был позади, но я не был усталым, я был бодрым и готовым ступить на новую тропу.

Пастор Форэл спросил меня: «Как вы себя чувствуете?»

Я ответил: «Думаю, что никогда не был лучшим евреем, чем сегодня».

## Заключительное письмо

Дорогой мой сын! Я поведал тебе мою жизнь. Я написал тебе тридцать писем. Если тебе иногда покажется, что я больше говорил сам с собой, чем с тобой, то знай, что хороший разговор с самим собой — лучший диалог.

Я старался написать тебе о себе то, что считаю важным. Я всегда стремился к встречам с людьми, к знакомствам. Я был любопытен и почти одержим желанием найти друзей. И я многих нашел, но при том забывал найти самого себя.

В молодости считают, что интересное и нужное с познавательной точки зрения идет извне. Однако с возрастом нам становится ясным, что нет ничего более невероятного и интересного, чем мы сами. Не из заносчивости я так говорю, так как сознаю, что моя жизнь не важнее жизни каждого другого человека.

Но нужно понять, что жизнь — не что иное, как наша жизнь. Мы видеть ничего другого не можем, как то, что касается нас. Круг восприятия следует углубить, а не расширить.

Рассказывая о своей жизни, я думал о тебе. Ты был со мной, я чувствовал твою близость. Я постарался разобраться в своей запутанно-сплетенной тропе жизни и надеюсь, что ты это поймешь и не прекратишь чтение на двадцатой странице.

В моем рассказе ты не должен искать образец, я хотел лишь показать тебе, как я пытался найти верный путь.

Я многое испытал, спотыкался, и часто мне казалось, что я лечу в пропасть. Но я всегда был уверен, что в последний момент меня что-то спасет: будь то женщина или мужчина, радостный или печальный случай.

Теперь я знаю: Бог спас меня от гибели и возвратил к жизни. В ту ночь, когда я умирал, я понял, что должен вернуться к Богу.

В жизни каждого человека наступает момент, когда раздается роковой стук в дверь его сердца, на который он вынужден ответить.

Ответом может быть только «да» или «нет», третьего не дано. Религиозное во мне было лишь засыпано, но оно во мне было.

В бурные годы моей жизни я не слышал голоса Божиего. Но я знал, что однажды услышу его, и в ночь моего воскресения я услышал этот голос, который не оставлял меня с тех пор никогда.

Я считал себя счастливым. На протяжении моих пятидесяти лет были, конечно, счастливые моменты. Я наслаждался временным, я пытался пробиться в вечное своим трудом. Удалось ли это мне, не знаю.

Жажда счастья никогда не была утолена, пока не познал своего пути к Богу. После этого меня ничто не могло удержать. Мне было ясно, что передо мной не тот проторенный путь, которым меня принуждали идти в детстве. Это был новый путь, который ведет ввысь. На его вершине я вижу образ Спасителя.

Я пережил великое событие в жизни еврея, ибо

никогда не чувствовал свою избранность сильнее, чем в ту ночь, когда я от смерти воскрес к жизни.

Книга эта говорит о моем пути как еврея. И мне кажется, что лучше бы назвать ее «Путь еврея».

Я знаю, что то, что делаю сегодня, многие евреи считают преступным, однако я одержим и обязан это делать, ибо для меня ничего другого не существует.

Мой еврейский путь ведет ко Христу. С радостью и без промедления я совершил этот шаг, потому что иначе жить не мог. Это единственный путь, который каждый еврей должен бы понять. Если некоторые не понимают, как я мог совершить этот шаг, если они меня упрекают, что я хотел спастись от судьбы евреев, то я должен сказать, что дело не в спасении, а в искуплении.

Христос, как и апостолы, был евреем. Христос умер не только за евреев, Он смертью своей искупил все творение Божие.

В ночь моей смерти я вернулся к Богу. Господь же воскресил и повел меня ко Христу.

## Из биографии автора

Карл Якоб Гирш родился 13 ноября 1892 года в Ганновере. После окончания гимназии им. Гёте он изучал историю искусства и живопись в университетах и академиях Мюнхена, Берлина и Парижа.

В 1919-1925 годах он руководил оформлением спектаклей в берлинском театре «Фольксбюне», в 1925-1933 годах работал журналистом в газетах «Фоссишенцайтунг» и «Берлинер цайтунг ам миттаг». В 1931 году в издательстве С. Фишера в Берлине, после напечатания во «Франкфуртер цайтунг», он опубликовал роман «Кайзерветтер». Эта книга, в числе многих других, 10 мая 1933 года была сожжена нацистами. В 1932 году в том же издательстве увидел свет роман «Феликс и Фелиция», который в 1938 году был выпущен в Нью-Йорке как пособие для изучения немецкого языка.

В 1933 году Гирш, оставив Германию, работал в Швейцарии в газете «Люцернер тагеблат» в качестве художественного и театрального критика. Потом он уехал в Соединенные Штаты Америки, где поступил в редакционный штаб социал-демократической газеты «Нойе фольксцайтунг» литературным издателем. Там он наряду с кино- и театральной критикой опубликовал романы «Свадебный марш в миноре», «Вчера и завтра» и «Дневник из Третьего рейха».

В 1936 году он был лишен германского гражданства, и в 1940 году стал гражданином Соединенных

Штатов. Он был членом международного клуба писателей. Его книги занесены в справочник «W. s W.» в Лондоне. Его имя значится в Энциклопедии искусств.

В 1945 году он вернулся в Германию. Умер 8 июля 1952 года в Мюнхене. Его наследие находится в архиве К. Я. Гирша при Академии искусств в Берлине.

## Послесловие

Герман Брох говорил о любящем нетерпении человека искусства к познанию, показывая это на примере Вергилия, который на склоне лет, оглядываясь на прожитую жизнь, к крайнему неудовольствию общественного мнения и государственной власти, дал правдивое заключение о своем творчестве. Карл Якоб Гирш также убежденно шел в этом направлении. За несколько лет перед смертью он по-своему воспользовался истинным «даром познания», чтобы дать отчет о своей жизни, самокритично поведав о ней в автобиографии. Она написана в исторический момент долгожданного конца войны и предстоящего возвращения в Германию. Автор переживал переломный период, и, как он сам говорит в «конце своего существования», она была больше, чем просто автобиография. К. Я. Гирш диалектически называет свою книгу-монолог диалогом, примером без притязания на «образец», книгой, в которой описывается критически оцененный жизненный опыт.

Записки о своей жизни писал и Р. М. Рильке, которого К. Я. Гирш высоко ценил и из чьей книги «Часослов» приводил цитаты при описании своей жизни. Для Р. М. Рильке это были записки «собственной нужды», сделанные на кульминационной точке «повешенного в бездну» существования, протоколы учебы и опыта. К. Я. Гирш писал свои записки в виде писем собственному сыну и как послания

самокритичного представителя поколения отцов поколению сыновей, которому досталось горькое наследие. Это — тридцать писем и заключительное послание о половине века своей жизни и своих конфликтах с историей и обществом. Это тексты с предложенным расстоянием во времени, объяснения человека на пути к открытию самого себя, к осознанию путей хождения своего «я», своих этапов, своих заблуждений, отношений и переживаний, но и своей цели. К. Я. Гирш всегда ценил опыт и обобщил его в своих многообразных произведениях в планах: общественном, политическом, педагогическом, просветительном и образовательном. В них он представил свою жизнь как возможный «пример» наследия, давая отцовское благословение в виде практической проекции личного опыта.

Закон — основное понятие религиозного еврейства, которое исповедовал еще отец автора, как неосознанный определяющий фактор, хотя и скрыто, присутствует в его письмах всегда, даже во времена, когда он занимал атеистическую позицию. Этот закон становится хребтом гуманности, этической силой порядка, который сделал автора способным критически оценить не только собственный жизненный путь, но и исторические события неудавшейся революции 1918 года, личности Вильгельмовской эпохи, период Веймарской республики и жестокого Третьего рейха. Слова «вспоминая то время» часто повторяются в этой балладе о собственном «я». Они — как взгляд из окна настоящего в прошлое ради будущего.

Гёте своего «Вертера» написал в форме писем, чтобы подобные «земные слезы превратились в ра-

дость богов». К. Я. Гирш использовал форму романа в письмах не для зашифрования, а для расшифрования документации жизни. Как Сартр и Камус, он, кроме политической активности, требовал деятельного существования и тем самым еще раз на другом уровне подхватил тему экспрессионизма об «обновлении человека». Это обновление он для себя лично пытался достигнуть религиозным и конфессиональным путем. «Любознательность» и «детское простодушие» он считал теми элементами, которые позволяли ему «все претерпеть», то есть теми двумя факторами, которые понятны лишь благодаря терминологии Р. М. Рильке, теми факторами, которые позволили как пришедшему когда-то из Праги ворпсведескому и парижскому Рильке, так теперь и пришедшему из Ганновера ворпсведескому, берлинскому и нью-йоркскому Гиршу преодолеть свой «страх за будущее», достигнув благодаря ему положительных решений. Этот революционер легкой руки, эстет обновления жизни, незаметный, стремящийся к универсальности, постоянно ищущий знаток и ученик жизни и искусства, соратник Левинса, Толлерса, Вольфенштейна и Пфемферта, рисующий сосед Гроса, Майднера, Тапперта и Хегенбарта, сотрудник Кайслера, Фелинга и Хильперта, друг Меринга, Деблинга, Кестена, Тиссена и Штуккеншмидта, поклонник Малера, Дерена, Бубера и Леонгарда Франка, провозгласил в заключение конечную цель своего существования — открытие Всесведущего как возвращение к Богу.

Текст этого издания был критически переработан. Ошибки в издании 1946 года устранены. Различие между изданиями — необходимое по техническим

причинам сокращение примерно на 10 рукописных страниц, которое, однако, сделано осторожно, без нарушения общего содержания.

Вальтер Худер  
Берлин, 17 марта 1967 г.





